Роберт Рождественский

2

2 Роберт Рождественский

Роберт
Рождественский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 2

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРЕХ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1985

Роберт Рождественский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

Стихотворения
Поэмы
Песни
1964–1970

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1985

Р2
Р62

Оформление
художника
Вл. МЕДВЕДЕВА

Р 4702010200-338
028(01)-85 подписное

© Состав. Оформление.
Издательство «Художественная литература», 1985 г.

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ
ПЕСНИ

Из сборника

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

1964—1965

ТРЕТЬЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ

Третье Музыкальное,—
помнишь ты
или нет
худого и заикающегося
курсанта
двенадцати лет?
Которому сразу же дали
огромный бас-геликон...
Влезал я в него,
как в удава,
свернувшегося клубком.
Не просто
мы постигали
науку
часов строевых,
а кроме —
играли гаммы
и ненавидели их.
Гаммы
плыли из комнат
муторно и тяжело...
Но если случалось:
в город
училище
строем
шло
и нашему взводу
давались
редкостные права,—
уж как мы тогда старались,—

не передашь в словах!
Это была не работа,
а исполненье мечты.
Ревмя
ревели тромбоны.
Поддакивали альты.
Кларнеты
во всю верещали,
но голос их
сразу пропал,
когда,
прохожих прельщая,
на совесть
забил
барабан!
Все это летело в лето
над строем знаменных пик.
Трубы визжали!
И флейты
впадали в щенячий писк.
Нас в холод и в жар бросало.
Была мостовая
мягка.
И были в груди у курсантов
не легкие,
а меха.
Не затихая,
дули!
Мелодия нас несла.
Синяя от натуги,
по городу
музыка
шла.
За нами бежали мальчишки,
завистливые и растерянные...
И мы
входили в училище —
гордые беспредельно!
Но старшина Иващенко,
вместо обычных похвал:
«Бездарно было,
товарищи! —
оценку игре
давал.—

Вы только понять сумейте
на данном этапе
одно:
каждому
инструменту
право на жизнь дано.
В каждом из них,—
заметьте! —
живая душа звенит.
Но грохотом
инструмента
ее нельзя заменить».
Нас покидали силы,
мы шли на обед неприкаянно...

Спасибо тебе,
спасибо,
Третье Музыкальное!

ДОМ

Дом мой
стоит посреди дорог.
Как же его проветрить?..
Товарищи
переступают порог
и мне все равно
не верят.
Не передашь
никаким врачам,
как лампы дрожат
погасшие.
Как появляется по ночам
прошлое.
Прошагавшее...
Проснись,
прислушайся.
Вот —
опять!
На пол
тетрадка сброшена.
Ступеньки лестницы
зябко скрипят,—
бродит по дому
прошлое...

Поймите,
я дом этот знаю весь!
Знаю его до косточки.
Я в нем переставил
каждую вещь,
перелистал до корки.

Всю рухлядь из дома выжег огнем
(старье горело
прекрасно).
Я перекрасил
все стены в нем,—
а прошлое
прет сквозь краски!
Как будто со мной
играет оно,—
то вдруг далеко,
то близко...

Поймите,
богам
я не верю давно
и хохочу над призраками...
Но прошлое бродит!
Его глаза
глядят
широко и бессонно.
Оно исчезает,
мне пальцем грозя,
с первым дыханием солнца.
Это дыханье свежо и старо.
Но я каждый раз его
жду...

Дом мой
стоит посреди дорог.
Я из него
не уйду!

ПРОРУБАЮТ АРБАТ

Прорубают Арбат.
Напрямик.
Через уйму дворов.
Камни
смачно скрипят
на холодных зубах
скреперов.
Пробивают Арбат!
Стонут черные балки стропил.
Стену
сталью дробят,
и над городом кружится пыль.
Пыль.
Кирпичная тьма...
Свет дрожит в одиноком окне.

Как привыкли
дома
к полусну,
к тесноте,
к тишине!
Как привыкли дворы —
романтичные,
будто в кино,—
к голосам детворы,
к пенсионной игре в домино.
Здесь смеются и курят,
рождаются,
любят и пьют...

Но
на собственной шкуре
узнал я
подвальный уют.
Неглубокая
лестница
в наше жилище вела.
Романтичная плесень
над детской кроваткой
цвела...

Прогрызают Арбат!
Обращаются хижины
в прах.
Только «МАЗы»
храпят
и буксуют
на бывших дворах.
Оседает окалина
и вздымается к тучам опять.

Наша участь
такая —
пробивать!
прогрызать!
прорубать!
Это —
наша забота,
нелегкие наши дела:
ненавидеть
заборы!
И ставить дома
из стекла!
На земле,
на громадине,
жить,
с рожденья не ведая страха.

Проклинаю романтику
тьмы,
подвалов,
щелей
и бараков!..

Тяжело и рассерженно
охнув,
рушится навзничь стена...

Не для нашего сердца
полусон,
теснота,
тишина.

РЕМОНТ ЧАСОВ

Сколько времени?
— Не знаю...
Что с часами?
— Непонятно...
То спешат они,
показывая
скорость не свою.

То, споткнувшись,
останавливаются.
Только обоняньем
я примерно-приблизительное
время
узнаю...

Я сегодня подойду
к одинокому еврею.
(Там на площади
будочки выстроились в ряд.)
«Гражданин часовщик,
почините мне время.

Что-то часики мои
барахлят».
Он, газету отложив,
на часы посмотрит внятно.

Покачает головою.
Снова глянет сверху вниз.
«Ай-яй-яй! —
он мне скажет.—
Ай-яй-яй!
Это ж надо!

До чего же вы,
товарищ,
довели механизм...
Может, это не нарочно.
Может, это вы нечаянно.
Для него,
для механизма,
абсолютно все равно!
Вы совсем не бережете
ваше время,
ваши часики.
Сколько лет вы их не чистили?
То-то и оно!»
Разберет часы потом он,
причитая очень грозно.
И закончит,
подышав на треугольную печать:
«Судя
по часам «Москва»,
вы уже
довольно взрослый.
И пора уже
за собственное время
отвечать».
Я скажу ему:
«Спасибо».
Выну пятьдесят копеек.
Тысяча семьсот шагов
до знакомого двора.
И машины мне навстречу
будут мчаться
в брызгах пенных.
Будто это не машины.
Будто это глиссера.
Разлохмаченные листья
прицепятся к ботинкам.
Станет улица качаться
в неоновом огне...
А часы на руке
будут тикать.
Тихо тикать.
И отсчитывать время,
предназначенное
мне.

ИСТОРИЯ

История!
Пусть я —
наивный мальчик.
Я верил слишком долго,
слишком искренне,
что ты —
точнее всяких математик,
бесспорней
самой тривиальной истины.
Но что поделать,—
мальчики стареют.

Твои ветра
по лицам их секут.
Секунды предъявляют счет столетьям.
Я говорю от имени
секунд.

История —
прекрасная, как зарево!
История —
проклятая, как нищенство!
Людей преображающая заново
и отступающая перед низостью.
История —
прямая и нелепая!
Как часто называлась ты,—
припомни,—
плохой,
когда была
великолепною!

Хорошей —
хоть была
постыдно подлой!
Как ты зависела
от вкусов мелочных.
От суеты.
От тупости души.
Как ты боялась властелинов,
мерящих
тебя на свой
придуманный аршин!

Тобой клянясь,
народы одурманивали.
Тобою прикрываясь,
земли
грабили.
Тебя подпудривали.
И подрумянивали.
И перекрашивали!
И перекраивали!
Ты наполнялась криками истошными
и в великаны
возводила хилых...
История,
гулящая история!
Послушай,
ты ж не просто
пыль архивов.
История!..
Сожми сухие пальцы.
Живое сердце людям отвори.
Смотри,
как по-хозяйски просыпаются
бессмертные создатели твои!
Они проглатывают
немудреный завтрак.
Торопятся.
Целуют жен своих.
Они уходят!
И зеленый запах
взволнованно окутывает их.
Им солнце бьет в глаза.
Гудки аукают.

Плывет из труб
невозмутимый дым.

Ты станешь
самой точною наукою.
Ты станешь.
Ты должна.
Мы
так хотим!

***

Вслушайтесь!
Вглядитесь!
Убивают
время.
Убивают время
сообща и в одиночку.
Будто бы друг с другом соревнуясь:
кто скорее?
Убивают в полдень.
Убивают ночью.
Убивают время
нахально и молитвенно.
Убивают время
стыдливо и истошно.
Убивают
прямо перед окнами
милиции!
(Что там
«перед окнами».
За окнами —
тоже...)
Люди спотыкаются.
Погоду ругают.
На площадках лестничных
толкутся вдвоем.
Зазывают в гости.
Так и предлагают:
«Приходите...
Как-нибудь
вечерок...
убьем...»

Люди суетятся.
Люди верят в слухи.
Ссорятся.
Ждут из Саратова
родных.
Убивают время!
После —
моют руки.
Чтоб не оставалось крови
на них...
Люди
убивают время отрешенно.
Пухлые портфели загадочно несут.
Убивают
собственное время.
И чужое.
И никто
за это
не зовет их в суд.
И никто —
ни разу! —
не вручает похоронных.
Мол, «погибло время.
Нужнейшее.
Зазря».
Падают
минуты
повзводно
и поротно.
Начиная
с самого первого
января...
Мертвые минуты молчат,
не обижаются.
Мертвые минуты
выстраиваются в века...
Зачем люди
плачут?
Чего докторам
жалуются,
что мало успели сделать,
что жизнь —
коротка?

ВИНТИКИ

Время
в символах разобраться!
Люди — винтики.
Люди — винтики...
Сам я винтиком был.
Старался!
Был безропотным.
Еле видимым.
Мне всю жизнь
за это расплачиваться!
Мне себя, как пружину,
раскручивать!
Верить веку.
И с вами
раскланиваться.
Люди винтики.
Люди-шурупчики.
Предначертаны
ваши шляхи,
назначение каждому
выдано.
И не шляпы на вас,
а шляпки.
Шляпки винтиков.
Шляпки
винтиков!
Вы изнашивайтесь,
вы ржавейте,
исполняйте
всё, что вам задано.

И в свою исключительность
верьте!
Впрочем,
это не обязательно.
Все равно обломают отчаянных!
Все равно вы должны остаться
там, где ввинтят,—
в примусе,
в часиках,
в кране,
в крышке от унитаза.
Установлено так.
Положено.
И —
не будем на эту тему...
Славься,
винтичная психология!
Царствуй, лозунг:
«Не наше дело!»
Пусть звучит он
как откровение!
Пусть дороги
зовут напрасно!..
Я
не верю,—
хоть жгите,—
не верю
в бессловесный
винтичный разум!
Я смирению
не завидую,
но, эпоху
понять пытаясь,—
я не верю,
что это винтики
с грозным космосом
побратались.
Что они
седеют над формулами
и детей пеленают бережно.
Перед чуткими
микрофонами
говорят с планетою бешеной.
И машины ведут удивительные.

И влюбляются безутешно...
Я не верю,
что это винтики
на плечах
нашу землю держат!..
Посредине двадцатого века
облетают
ржавые символы...

Будьте счастливы,
Человеки!
Люди умные.
Люди сильные.

***

У планеты сон
не слишком глубокий.
Стая галочья
на рощу с криком рушится...
О, непризнанные «судьи эпохи» —
люди
еле уловимой наружности!
Задыхаюсь я от вашей солидности.
И пока
всего одно беру в толк:
чем вам хуже —
тем лучше!
Тем завистей
и захлебистей дрожащий шепоток...
У меня для стона
поводов — масса.
Мы живем
на ураганном сквозняке.
Представляю,
как вы радуетесь смачно:
«Дураки вокруг.
Дурак на дураке».
Обсуждаете:
«Вильнул напоследок».
Осуждаете:
«Обиду стерпел».
«Надо было так,
а он сделал эдак».
«Испугался.
Смирился.
Задубел».

«Что поделать,—
это даже не подсудно».
«Что поделать,—
подыхай, правда-матка!»
Вы светлы,
как ресторанная посуда.
Вы чисты,
как туалетная бумага.
Вы не просто чисты —
вы стерильны.
Вот и лезете
в раны и уроны.
Вот и маетесь
в своей истерии,
драгоценные мои
прокуроры.
О, всезнающие
«судьи эпохи»,
как умны вы порою,
как отважны!..
Только мне
плевать на все ваши
боли!
Потому что боли эти —
не ваши.
Ничего-то
вы не сделали сами.
Ничего-то
вас всерьез не изводит.
Ничего-то вы
громко не сказали.
И не скажете
(жена не позволит).
Будьте счастливы!..
А я
измерил точно
вашу доблесть,
ваш испуг,
ваш восторг.
И поддакивать
дрожащим шепоточкам
не могу.
Извините.
Тембр не тот.

***

Интересуешься искусством?
Великим,
дерзостным,
нескучным?
Тогда
поговорим о нем —
о трепетном,
о неплакатном...
Да, кстати...
Кто там с музыкантом
сидит
за угловым столом?..
Приятно быть все время в курсе
последних новостей искусства.
Нормального.
Без громких фраз...
Ты слышал?
Он недавно снялся
в кино.
И сразу же зазнался.
И женится
в четвертый раз...
Гляди:
вон тот поэт высокий
все время бродит сонный-сонный,—
конечно, глушит люминал...
Актрисочка.
Почти девчонка.
У ней любовников —
до черта!
Могу назвать по именам.

Интересуешься искусством?
Возвышенным,
дразнящим,
вкусным?..
Прозаик
подал на развод.
А этот
был с другою летом.
А тот
живет с кордебалетом —
страдает, бедный,
но живет.

Интересуешься искусством?
Разнообразным,
а не куцым,
чтоб на любой вопрос —
ответ?..
Актер с любовницей в июне
устроил...

Слушай!
Вытри слюни
и отдохни...
«искусствовед»!

ЧЕЛОВЕК

Пугали богами.
А он говорил:
«Враки!»
Твердили:
«Держи себя в рамках!»
А он посмеивался.
И в небо глядел.
И шел по земле.
И осмеливался!
И рушились рамки.
И вновь воздвигались
рамки...

«Держи себя в рамках!»
А он отвечал дерзко.
«Держи себя в рамках!»
А он презирал страхи.
А он смеялся!
Ему было в рамках
тесно.
Во всех.

Даже в траурной
рамке.

МЫ — ПОЛИТИКИ

Мы — политики.
Да!
Политики.
Каждой мелочью.
Всеми фибрами.
И за будничными кефирами.
И за праздничными пол-литрами.
Собираемся мы
нечаянно,—
дым табачный
стелется низко.
Каждый вечер
как чрезвычайное
заседанье
Совета Министров.
Здесь становится близким —
дальнее.
Здесь чужое становится —
личным!..
«Как в Свердловске
проблема питания?»
«Как в Игарке
с вопросом жилищным?»
Презираем
ответы туманные.
Но отмалчиваться
не разрешаем.
«Как там Франция?»
«Как Германия?»

И опять:
«А что с урожаем?»
Интонацию вопросительную
мы недаром
выбрали сами.
Заседаем мы
без президиума,
но зато —
с оживлением в зале!..

Деловито и непреклонно
возникают над мирными чайниками
доморощенные
Свердловы,
заикающиеся
Луначарские.
Шаумяны
из Архитектурного.
А еще Дзержинские
с Горного...
Наши споры порой —
непродуманны.
Наши мысли порой —
рискованны.

Только я это слушаю с радостью!
И такую рискованность
славлю! —
Значит, в жизни мы
разбираемся.
Значит, сильные мы,
а не слабые.
Значит, мы и вправду —
огромные,
если жить
не желаем
ощупью.
Значит, все это наше!
Кровное!
Наше личное.
Наше общее.
Дипломаты мы пусть неважные.
Не чета
седым и прославленным.

Только хочется нам,
товарищи,
чтобы все на земле
было правильным!
Справедливым.
Гордым до зависти.

Брось, приятель,
глухим казаться!
Брось ты хмыкать:
«Нас не касается...»
Нет, касается!
Ох, как касается!!
В этих спорах
себя открыли мы.

И над яростью
наших бесед
в дымной комнате
машут крыльями
опоздавшие птицы
газет.

ПАМЯТНИК СОЛДАТУ АЛЕШЕ В ПЛОВДИВЕ

Отсюда видно
далеко-далеко.
Горизонт —
почти невесом.
Как ангел-хранитель
солдат Алеша
над Пловдивом
вознесен...
Алеша,
явно ошибся скульптор,
его твой облик
стеснял.
Наверно,
он знал о тебе слишком скудно,
а может,
совсем не знал.
Ты выглядишь
этакой глыбой сонной,
которой нужны слова.
Ты хмурый в камне.
А был ты
веселым!
И от речей
уставал...
Туман упадет
легко и белесо
на неподвижный лес...
Сейчас я
старше тебя,
Алеша,

почти что
на десять лет.
Это я просто родился
позже,
а так —
достаточно смел.
Я многое видел.
Ты видел
больше:
ты видел
однажды
смерть...
Мертвых
не принято зря тревожить.
Не надо.
Уйди.
Откажись...
Спросить бы проще:
«Как смерть, Алеша?»
Я спрашиваю:
«Как жизнь?»
Вопрос мой
пусть не покажется вздорным.
Мне это нужно решить!
Той ли я жизнью живу,
за которую
ты перестал
жить?
Верь.
Это мой постоянный
экзамен!
Я все время
сдаю его.
Твоими безжалостными глазами
гляжу
на тебя самого.
И этот взгляд
никуда не денешь —
он в каждом идущем дне...
Мне за две жизни
думать
и делать!
Два сердца
бьются во мне!

Не струшу я,
что бы мне ни грозило,—
мне в душу
смотрит солдат!..

Алеша,
я уезжаю в Россию.
Что
маме твоей
передать?

БАЗАР ТОГО ГОДА

Ю. Казакову

Базар?
Базар!

Торговки
базлали:
«Сахарин фасованный!»
«Целебная махра!»
Чего только не было
на этом базаре,
особенно
если в воскресенье,
с утра...
«Продам шинель новехонькую!
Сам бы носил — жалко!»
«Брусничная настоечка —
лекарство от невзгод!»
«А ну,
кому
шаньги!
Румяные шаньги!»
«А вот чудо-мыло».
«А вот костыль-самоход».
«Прыгающий мячик —
детишкам на забаву».
«Валенки!
Валенки на любой мороз!»

Продавал ругательства —
за полтинник
пару —

чернявый
хриповатый
безногий матрос...
«Имеются ушанки.
Три кило ворсу.
Налетай, служивые!
Цена — пустяк».

— А у вас, дедуся?
— У меня
фокусы.
— Что еще за новость?
Как это?
— А так...

Он прямо на булыжнике
расстелил коврик.
Из собственного уха
огурец извлек.
И в мутноватой лужице
среди арбузных корок
заплавал,
заплескался
серебряный малек...
А старичок выдергивал
голубей из сумочки,
потом превратил полено
в заржавленную пилу...
Старичок старался!
Мелькали пальцы сухонькие...
«Э-гей!
Кому фокусы!
Недорого беру».
Подходила публика.
Смеялись бабы в голос...

А мальчишка —
замерший,
как громом поражен,—
вдруг сказал:
— Дедушка,
продай мне...
фокус...

чтоб в конце фокуса...
папа...
пришел...—
Старичок
беспомощно пожал
плечами...
Цвела
победными лозунгами
щербатая стена...
Люди оглянулись.
Люди замолчали...

Кончилась.
Кончилась.
Кончилась
война.

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Мы в зале ожидания
живем.
Любой из нас
все время ждет чего-то...
Начальника
у дома ждет шофер,
поигрывая ключиком от «Волги»...
Вот аккуратный старичок в пенсне.
Он ждет.
Он едет в Вологду за песнями.
Старуха,
что-то бормоча о пенсии,
блаженно
улыбается во сне...
Безропотного мужа
ждет жена...
Девчонка ждет любви.
Ей очень боязно.
А на девчонку
смотрит старшина —
и у него есть целый час
до поезда...
Ждет поворота лоцман —
скоро
мель.
Учитель ждет
решения примеров.
Ребята
ожидают перемены.

Колхозы
ожидают перемен.
Разбуженная,
ждущая страна
и целый мир,
застывший в ожидании...
За нами —
штормовая тишина!
За нами —
нашей силы
нарастание!
Мы ждем открытий.
Мы друзей зовем.
Друг другу говорим
слова несладкие...
Мы
в зале ожидания
живем.
Но руки
в ожидании
не складываем!

ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ

А вам не услышать,
как холодно звякают листья.
А вам не увидеть
дрожания каменных веток...
Я это пишу слишком близко от вас.
Очень близко.
И все ж таки так далеко,
как с другой планеты.
На этой планете
себе я не доверяю.
Смеюсь над собой,—
и никак не кончается это.
Я голос теряю.
Я чьи-то пути повторяю.
И вижу:
проходит мимо
ваша планета.
Она появляется —
чудо мое зоревое,
глаза
застилает.
Величием дышит безмолвным.
Она проплывает
в густом голубом ореоле.
Прошитая солнцем.
Продутая ветром.
Пропахшая морем.
На этой планете,
на этой планете вашей
гудят поезда,

громыхая бессонно,
бессвязно.
Тяжелые стрепеты
пыльными крыльями машут.
У тихих селений
стоят умудренные вязы.
Я знаю:
на вашей планете проходит лето.
Ночная река
источает целебный холод.
Проходит лето.
Проходят ссоры.
Беды проходят.
Проходит мимо,
проходит мимо
ваша планета.
И я поднимаюсь.
И я подчиняюсь крику.
И в собственном крике,
тяжелом и темном,
вязну...
Я должен прыгнуть.
Я прыгну!
Сейчас я прыгну
на эту планету —
земную,
добрую,
вашу.

НАЗЫМ

А у Назыма был голос протяжный.
Руки добрые
были у Назыма.
У Назыма был характер
бродяжий,
а в глазах была
веселая сила.
Что любил он?
Он любил час,
в который
можно лишь необъяснимо проснуться.
И увидеть город —
странный,
готовый
от мальчишеского солнца
задохнуться.
Он с друзьями любил за стол усесться,
смаковал
вина грузинского терпкость.
Говорил:
«Пью за врачей!
За то,
что сердца —
пусть обычного —
они не могут
сделать».
Только разве он бы смог жить
с обычным!
Нет!
Конечно, не смог бы.

Это ж ясно...
Он любил погарцевать в тосте пышном.
Он придумывал шутки
и смеялся,
как ребенок,
шоколадку нашедший,
на два города
тепло излучая...
А еще он любил
добрых женщин.
(Правда,
злые
ему тоже встречались.)
Называли добряком его
иные.
Называли чудаком его
нервным.
Я не буду спорить,
но знаю поныне:
добряком он
не был.
Чудаком —
не был.
Человеком
и поэтом был.
Всего лишь.
Человеком
и поэтом.
И только...
Если он говорил о ком-то:
«Сволочь!» —
значит, это была сволочь.
Точно!..
Говорят,
что были проводы щемящи.
Невесомые цветы легли
на плечи.
И звучали похоронные марши.
И текли заупокойные речи.
Он не слушал.
Он лежал.
Смотрел на солнце.
И не щурил глаз
наивных и дерзких.

Было гулко.
Было очень высоко.
Так высоко,
как бывает только в детстве!..
Потеряла женщина
мужа.
Потеряла женщина
сына...

Я не верю в эту смерть,
потому что —
как же может Земля
без Назыма?

АЛИ БАЛА

Была ни была,—
крути,
Али Бала!..
Ревет мотор,
по горло натруженный.
Разболтана дорога
и от пыли бела.
Крути, Али Бала!
Накручивай!...
Влетаем в повороты,
самих себя дразня.
В автобусе —
рассказы об авариях.
Хохочет Али:
«Берите пример с меня.
Если страшно,
я глаза
закрываю...
Дорога как дорога.
В порядке вещей».
Но если что,—
не соберешь крошечки.
Под нами — крыша дома
в двенадцать этажей.
И наш автобус
шпарит по кромочке.
Али Бала, не надо!
Али Бала — чудак!
Навстречу нам
«Москвич» метет
пылью.

Скажи,
зачем мы лезем
на этот чердак?
Чего мы там,
Али Бала,
забыли?..

А он все улыбается.
А он вошел в раж.
А он
баранку крутит рисково.
«Чего, говоришь, забыли?
Забыли увидеть рай!
И я тебе покажу его.
Скоро!
Ты ахнешь!
Ты заранее сердчишко уйми,
встречаясь
с удивительным Кавказом.
Я в том клянусь
своими
десятью детьми!
И одиннадцатым,
который уже
заказан».

И снова мы взбираемся на спину скалы.
И зной такой,
что можно потрогать.
И чертит по зною
локоть Али Балы,
левый
загорелый
локоть.

САУНА

Об испытаньях прежних
не вспоминай пока что...
Ты —
в сауне.
Ты грешник.
И потому —
покайся!
Вживайся оробело
в блаженство и мученье.
Но если это —
пекло,
куда девались черти?..
Жара,
жарынь,
жарища,
не утихая, стелется.
Она теперь
царица!
Она теперь
владелица!
Она погодой вертит.
А здесь,
в горниле сауны,
из флоры —
только веник,
и только я —
из фауны.
И не хватает воздуха.
И дышишь —
как воруешь.

Но тут же надо —
в озеро!..
А сможешь?
А не струсишь?..
Наверное, сумею.
Конечно же, не струшу.
Сейчас я чуть помедлю
и выбегу
наружу.
Ведь мы, во всяком случае,
в своем существовании
и кипятками
варены!
И холодами
кручены!
Все в жизни повторяется.
И в нас уже
вколочено:
В холодное!
В горячее!
В горячее!
В холодное!

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

Мне все труднее
пишется.
Мне все сложнее
видится.
Мгновеньями летят года,—
хоть смейся,
хоть реви...
И я из дома убежал,
чтоб наконец-то вырваться
из радиуса действия
обыденной любви.
Я был самонадеян.
Сел в самолет.
Обрадовался.
От молчаливой женщины
решительно уехал.
Но все равно остался
в знакомом очень
радиусе.
Слова ее,
глаза ее
во мне звучали
эхом.
Невероятный радиус!
Как от него
избавиться?
Непостижимый радиус!
Нет никакого сладу.
И я на этом радиусе —
как на булавке
бабочка.

И больно мне,
и весело,
и тяжело,
и сладко...

О, радиусы действия!
Радиусы действия!
Они — во мне,
они — в любом,
и никакой
межи!
Есть радиусы действия
у гнева и у дерзости.
Есть радиусы действия
у правды и у лжи.
Есть радиусы действия
у подлости и злобы —
глухие,
затаенные,
сулящие беду...
Есть радиусы действия
единственного слова.
А я всю жизнь ищу его.
И, может быть,
найду.
А может,
мне
не суждено...

Летят неразделенные
года!
Но, вопреки всему,
я счастлив
оттого,
что есть на свете женщина,
судьбой приговоренная
жить
в радиусе действия
сердца моего!..

***

За тобой
через года
иду,
не колеблясь.
Если ты —
провода,
я —
троллейбус.
Ухвачусь за провода
руками долгими,
буду жить
всегда-всегда
твоими токами.
Слышу я:
«Откажись!
Пойми
разумом:
неужели это жизнь —
быть привязанным?!
Неужели в этом есть
своя логика?!
Ой, гляди —
надоест!
Будет плохо».
Ладно!
Пусть свое
гнут —
врут расцвеченно.
С ними я
на пять минут,

с тобой —
вечно!
Ты —
мой ветер и цепи,
сила и слабость.
Мне в тебе,
будто в церкви,
страшно и сладко.
Ты —
неоткрытые моря,
мысли тайные.
Ты —
дорога моя,
давняя,
дальняя.
Вдруг —
ведешь меня
в леса!
Вдруг —
в Сахары!
Вот бросаешь,
тряся,
на ухабы!
Как ребенок, смешишь.
Злишь, как пытка...

Интересно мне
жить.
Любопытно!

СТИХИ О БИОТОКАХ

1

Пронизаны ими
земля и воздух.
Они горячей вулканного жженья...
Гудят биотоки
сердца и мозга —
биотоки
высокого напряженья.
Они обжигают тебя и меня,
дышать не дают.
Раздавили!
Загнали!
Не умолкая
звенят и звенят
тревожные,
прыгающие сигналы.
«На помощь!
На помощь!»
Кто их послал?
Что гибнет?
Любовь?
Человечество?
Совесть?
Что гибнет, скажите?!
С утра допоздна
влетают они в суматоху бессонниц.
Гудят биотоки —
за молнией молния.
С востока и запада.

С юга и севера...
О, если б умел я,
о, если бы мог я
врагов убивать
биотоками сердца!
О, если бы стало возможностью это!..
А впрочем,
куда воспаленному веку —
отбросив
скорости звука и света —
со скоростью мысли
помочь
человеку!..

2

Наверно,
ученый меня б опроверг.
Но я,
отвергая мудреные толки,
верю:
если погиб человек,
от него
продолжают идти биотоки.
Они пронзают
толщи глубин.
И где-то у очень дальнего моря
та,
которую он любил,—
вздрогнет
и на часы посмотрит...
Но это —
о нем и о ней.
А про нас?..
Летят биотоки над Обью,
над Волгой.
Деревья вспыхивают,
накренясь,
от этой громадины тысячевольтной.
Не спи!
Я хочу так.
Не спи!
Не моги!..

Ведь что-то случилось!
Случилось!
Я знаю...
Понять не могу лишь,
друзья иль враги —
твои,—
я их так отличаю,—
сигналы.
Я их, как свиданье с тобой,
тороплю.
Летят они!
Ты их исправить
не можешь!..

И если значат они:
«Не люблю...» —
Ты вздрогнешь.
И на часы посмотришь.

ВОЛЬФ МЕССИНГ

В гостинице швейцары —
жуть! —
официальны.
Зал украшен вывесками:
«Просьба не сорить».
Грудасто-необъятные
плывут официантки,
со следами молодости,
далекой,
как царизм.
А я их позабыл уже...

Автобус
грязь
месит.
Автобус филармонии
по лужам бежит.
На концерт к шахтерам
едет Вольф Мессинг.
Наверное, без Мессинга
они не могут жить.
Тучи над дорогой
залегли, нависли...
Едет Вольф Мессинг,
спокойствием лучась.
Шахтерские,
подземные,
подспудные мысли
начнет он, будто семечки,
щелкать
сейчас.

Пусть он чудодейством
на всех со сцены
дунет,
отгадывает мысли,—
не все ль ему равно?
Но пусть вслух не говорит,
о чем шахтеры
думают,
потому что в зале
женщин полно...
И я со всеми вместе
от чудес немею.

Ахаю!
Охаю!
Не верю глазам.
И вдруг...
Но позвольте!
Я это сам умею!
Не хуже Вольфа Мессинга умею.
Сам!
Я секрет открою.
Даром,— не жалко!
Не надо здесь особой
мудрости змеи...
Помнишь,
прошлым летом
я брал тебя за руку
и сразу же угадывал
все мысли твои!
На пустых пляжах
провисали тенты,
дождь —
будто нехотя —
лил без выходных...
А сейчас ты где-то.
И до этого «где-то»
надо ехать
долго,
на перекладных.
Сначала на автобусе
(чтоб он сказился!).
Потом шагать рассыпчатым,
тяжким песком.

Потом качаться в кузове
бывшего ЗИСа.
И снова —
на автобусе.
И снова пешком...
Такие расстояния.
Такая погода.
Такие километры
сплошной колеи,
что даже если очень,
очень охота,—
как я угадаю
мысли твои?!
Как мне угадать их,
если мы не вместе
и земля за окнами
в темном снегу...

Помогите,
Мессинг!
Можете,
Мессинг?
Я уже
пробовал.
Я не могу.

***

М. Озеровой

Не ночь,
а просто
сорок минут сумерек...
К тебе есть
просьба:
бежим от запутанной сутолоки!
Туда —
где простор,
где река
тяжела и покорна.
Там дремлет
костер
того
счастливого года...
Мы выйдем из лодки,
дождемся полночного часа.
И угли холодные
вдруг покраснеют
от счастья.
И вновь мы привыкнем
к росе,
к шорохам чутким...
Пылать
травинкам!
Гореть
березовым чуркам!..
А нам —
помолчать...

Погрустить,
если будет охота.
И снова начать
от костра
счастливого года.
Всю душу проветрить.
Все тайные мысли
проверить.
И сердцу поверить.
И теплым коленям поверить.
И праздничным вечером
на главной площади
города
пусть вспыхнет навечно
костер
счастливого года!
И пусть он согреет
все руки,
все клятвы,
все просьбы.

Поедем скорее!
Поедем,
пока не поздно.

ДОЧКЕ

Катька,
Катышок,
Катюха —
тоненькие пальчики.
Слушай,
человек-два-уха,
излиянья
папины.
Я хочу,
чтобы тебе
не казалось тайной,
почему отец
теперь
стал
сентиментальным.
Чтобы все ты поняла —
не сейчас,
так позже.
У тебя
свои дела
и свои
заботы.
Занята ты долгий день
сном,
едою,
санками.
Там у вас,
в стране детей,
происходит
всякое.

Там у вас,
в стране детей —
мощной
и внушительной,—
много всяческих затей,
много разных жителей.
Есть такие —
отойди
и постой в сторонке.
Есть у вас
свои вожди
и свои пророки.
Есть —
совсем как у больших —
ябеды
и нытики...
Парк
бесчисленных машин
выстроен по нитке.
Происходят там и тут
обсужденья
грозные:
«Что
на третье
дадут:
компот
или мороженое?»
«Что нарисовал сосед?»
«Елку где поставят?..»
Хорошо, что вам
газет —
взрослых —
не читают!..
Смотрите,
остановясь,
на крутую радугу...
Хорошо,
что не для вас
нервный
голос
радио!
Ожиданье новостей
страшных
и громадных...

Там у вас,
в стране детей,
жизнь идет
нормально.
Там —
ни слова про войну.
Там о ней —
ни слуха...

Я хочу
в твою страну,
человек-два-уха!

ПИСЬМО ПРО ДОЖДЬ

Идут
обыденные дожди,
по собственным лужам скользя.
Как будто они поклялись
идти,
а клятву нарушить
нельзя.
Даже смешно —
ничего не ждешь.
Никакого чуда
не ждешь.
Засыпаешь —
дождь.
Просыпаешься —
дождь.
Выходишь на улицу —
дождь.
И видишь только
пустую мглу,
город видишь пустой.
Газировщица скрючилась на углу —
упорно
торгует водой.
А воды вокруг!
Столько воды,
просто
некуда разливать.
Это все равно
что идти торговать

солнцем —
там, где сейчас
ты!..
Послушай,
а может быть, и у вас
такая же чехарда?
У подъезда в глине
«газик» увяз,
на балконе слоем —
вода...
Если так,—
значит, в мире какая-то ложь.
Так не должно быть!
Нет!
Потому что нужно:
если мне —
дождь,
то тебе —
солнечный свет.
Как дочка, солнечный!
Как слюда!
Как трескучая пляска огня!
У тебя не должно быть дождей
никогда.
Пусть они идут
у меня...
А они идут —
слепые дожди.
Ни деревьев нет,
ни травы...

Пожалуйста,
это письмо
порви.
И меня за него прости.
А впрочем,
дело совсем не в нем.
Просто
трудно терпеть.
Море гудит за моим окном,
как поезд,
идущий к тебе.

ПИСЬМО ПРО СНЕГ

Я не видел
такого снега —
он другой,
он совсем не тот!
Он идет
стыдливо и нежно,
извиняясь за то,
что идет.
Извиняясь за то,
что взвешенный,
непонятливый,
неземной.
Извиняясь за то, что —
вежливый
и от этого
чуть смешной.
И за то,
что к нему не привыкли,
к поворотам его
озорным.
Извиняясь за то,
что травинкам
суждено
погибнуть под ним.
Извиняясь за то,
что задумчивый,
без привязанностей и любви.
Извиняясь за то,
что уступчивый,—
из него что хочешь
лепи!

Он закроет все,
что прикажешь,
ровным вежливеньким пластом...
Не хвали его!
Он покажет.
Он себя покажет
потом!
Ты не верь его ласковой позе
на пустом раздолье степей...
Ах, как кинется
мстить он после
за свое униженье
теперь!
Будет он колючим,
отчаянным,
хлестким,
огненным,
непростым!..

Мы простили его
вначале.
Мы потом себя
не простим!

ДИПЛОМАТАМ НАШИМ

Ю. Воронцову

Дипломаты,
дипломаты,—
протокольная работа...

Где-то
на земле громадной
возле самого Тобола —
ветра
теплое движенье,
тихий голос:
«Сынку...
Сынку...»
Сын —
как в добровольной ссылке.
Как в бою.
Как в окруженье.
Там не сладко.
Там — опасно.
Там протяжные туманы...
Сын —
не без вести пропавший.
Все о нем известно маме.
Но приказ —
суров и точен
(небольшое утешенье) —
сын
не может,

сын
не должен
выходить из окруженья...
На конверты смотрит мама,—
буквы ровные — нелепы.
А на заграничных марках
короли и королевы.
Пишет сын,
что все нормально,
жаль —
погода утомила...
Дипломаты,
дипломаты —
на переднем крае
мира!
Дни —
то медленно,
то быстро,
только никогда не праздно...
Как легко вам ошибиться!
Как вам ошибиться
страшно!
Это стоит многих жизней.
Есть невидимые нити,—
вы ошиблись —
и ошибся
доменщик с Большой Магнитки.
И ошибся академик.
И скрипач
смычка не тронул.
У шахтера —
день потерян.
У хирурга —
скальпель дрогнул.
Вмиг спокойствия лишились
люди
самых разных званий.
И уже страна
ошиблась!
Вся!
Которая за вами!

Будет флаг багровый биться
и под ветром не сгибаться...

Как легко вам
ошибиться!
Как нельзя вам
ошибаться!..
Светятся окошки в МИДе.
Телетайп стрекочет важно...

Что-то завтра будет
в мире,
нервном,
как работа
ваша?

ПАРНИ С ПОДНЯТЫМИ ВОРОТНИКАМИ

Парни с поднятыми воротниками,
в куртках кожаных,
в брюках-джинсах.
Ох, какими словами
вас ругают!
И все время удивляются:
живы?!
О проблеме вашей спорят журнальчики —
предлагают убеждать,
разъяснять...
Ничего про это дело
вы
не знаете.
Да и, в общем-то,
не хотите знать...

Равнодушно
меняются
столицы —
я немало повидал их,—
и везде,
посреди любой столицы,
вы стоите,
будто памятник
обманутой мечте.
Манекенами
к витринам приникшие,
каждый вечер —
проверяй по часам —
вы уже примелькались всем,
как нищие.

Что подать вам?
Я не знаю сам.
Завлекают вас
ковбоями и твистами,—
вам давно уже
поднадоел твист.
Вы покуриваете
и посвистываете,
независимый делаете вид.
Может,
девочек ждете?
Да навряд ли!
Вон их сколько —
целые стада.
Ходят около —
юные,
нарядные...
Так чего ж вы ожидаете тогда?!
Я не знаю — почему,
но мне кажется:
вы попали
в нечестную игру.
Вам история назначила —
каждому —
по свиданию
на этом углу.
Обещала показать
самое гордое —
мир
без позолоченного зла.
Наврала,
наговорила с три короба.
А на эти свиданья
не пришла...
Идиотская
неумная шутка!
Но история
думает
свое...
И с тех пор
неторопливо и жутко
все вы ждете,
все ждете ее.

Вдруг покажется,
вдруг покается,
вдруг избавит от запойной тоски!..
Вы стоите на углу,
покачиваясь,
вызывающе подняв воротники...
А она проходит мимо —
история,—
раздавая
трехгрошовые истины.

Вы постойте, парни,
постойте!
Может быть,
чего-нибудь
и выстоите.

***

С. Красаускасу

Кем они были в жизни —
величественные Венеры?
Надменные Афродиты —
кем в жизни были они?
Раскачиваясь,
размахиваясь,
колокола звенели.
Над городскими воротами
бессонно горели огни.
Натурщицы приходили
в нетопленные каморки.
Натурщицы приходили —
застенчивы и чисты.
И превращалась одежда
в холодный
ничей комочек.
И в комнате
становилось теплее
от наготы...
Колокола звенели:
«Все в этом мире тленно!..»
Требовали:
«Не кощунствуй!..
Одумайся!..
Отрекись!..»
Но целую армию красок
художник
гнал в наступленье.

И по холсту,
как по бубну,
грозно стучала кисть.
Удар!
И рыхлый монашек
оглядывается в смятенье.
Удар!
И врывается паника
в святейшее торжество.
Стекла звенят в соборе.
Удар!
И это смертельно
для господина бога
и родственников его...
Колокола звенели.
Сухо мороз пощелкивал.
На башне,
вздыбленной в небо,
стражник седой дрожал...
И хохотал художник!
И раздавал пощечины
ханжам,
живущим напротив,
и всем грядущим
ханжам.
Среди откровенного холода
краски цвели на грунте.
Дул торжественный ветер
в окна,
как в паруса.
На темном холсте,
как на дереве,
зрели
теплые груди.
Мягко светились бедра.
Посмеивались глаза.
И раздвигалась комната.
И исчезали подрамники.
Величественная Афродита
в небрежной позе плыла.
А натурщицам было холодно.
Натурщицы
тихо вздрагивали.

Натурщицы были
живыми.
И очень хотели
тепла.
Они одевались медленно.
Шли к дверям.
И упорно
в тоненькие накидки
не попадали плечом.
И долго молились в церкви.
И очень боялись
бога...

А были
уже бессмертными.
И бог здесь был
ни при чем.

КОЧЕВНИКИ

Ч. Чимиду

У юрты ждут оседланные кони.
Стоит кумыс на низеньком столе...
Я знал давно,
я чувствовал,
что корни
мои —
вот в этой
пепельной земле...
Вскипает чай задумчиво и круто,—
клубящегося пара торжество.
И медленно
плывет кумыс по кругу.
И люди величаво
пьют его...
А что им стоит
на ноги подняться,
к высокому порогу подойти.
«Айда!»
И все.
Минут через пятнадцать
они уже не здесь.
Они —
в пути...
Как жалок и неточен
был учебник!
Как он пугал меня!
Как голосил:
«Кочевники!!»

Да я и сам
кочевник!
Я сын дороги.
Самый верный сын...
Все в лес смотрю.
И как меня ни кормят,
и как я над собою ни острю,—
из очень теплых
и удобных комнат
я
в лес смотрю.
Все время
в лес смотрю.
То — север,
то — большое солнце юга.
То — ивняки,
то — колкое жнивье...
И снова
я раскладываю юрту,
чтобы потом опять
собрать ее...
Приходит ночь.
И вновь рассветы брезжат,
протяжными росинками звеня...
И подо мной,
как колесо тележье,
поскрипывает
добрая
земля.

В БУДДИЙСКОМ МОНАСТЫРЕ

А. Туркову

Ламы,
а вы ничего себе внешне —
крупные парни...
В храме
во время моления
гул,
как в Центральной бане.
Пряно
и горьковато
по углам дымит можжевельник.
Плавно
в жилистых пальцах
колокольчики
ламы вертят.
Бухают
в барабаны священные
зло и безжалостно.
Букою
восседает администратор
этого джаза.
А из дымов
выплывают таинственно —
каждый по пуду —
двести двадцать томов
сочинений
непостижимого Будды!
Вечное благо,
где в тысячный раз —
изящная пропись...
Я согласен,
ламы:
ваш Будда —
усидчивый хлопец.

Это не мало,
но извините —
удивляться не буду:
сейчас графоманы
по числу томов
обскакали Будду.
Знаю вполне я
графоманий нахрап истошный.
Их сочиненья
постичь
невозможно тоже!..
Впрочем,
ладно,—
не будем в религию лезть глубоко...
Ламы!
Непыльная ваша профессия —
верить
в бога.
Морочить старух.
Пасти
человечье стадо...
Пока вам верят.
Пока вас кормят.
А вдруг перестанут?!
А что, если вам
не помогут
священные силы?!
Куда вы тогда подадитесь,
ламы?
В швейцары?
В кассиры?..
Чай
утомленным монахам
дежурный разносит.
Чад
плывет по загривкам,
щекочет ноздри.
Ламы
сидят,
постигают молча
сущность нирваны.
Лампы
пятисотсвечовые
горят над их головами.

КИНО В УЛАН-БАТОРЕ

Скачки на экране!
Скачки!
Скачки!
В клубе Улан-Батора народу полно...
Пожалуйста, не ждите
восточной сказки.
Я расскажу о том,
что было в кино.
А в кино было вот что:
летели по экрану
кони,
распластанные в серой пыли.
И было непонятно,
и было очень странно,
что они
должны еще
касаться земли!
Наверное, сейчас они
копытами бабахнут!
И растают в небе
на несколько дней...
Сзади
старичок причмокивает губами
и стонет в истоме,
глядя на коней...
Справа —
мальчишка!
Сколько ему?
Сколько?
Десять?

Двенадцать?
Возраст —
ни при чем!
Он что-то мне восторженно
вопит по-монгольски!
И на поворотах
толкает плечом.
А кони разворачиваются
под фырканье сочное.
Проносится над степью реактивная медь!..
В зале только цоканье,
цоканье,
цоканье.
И зрители
привстали
с нумерованных мест.
Попробуй-ка
вот этих
с седла опрокинь!..

А фильма я не помню
(такой вышел случай).
Ведь, если честно,
фильм был плохим.
Зрители —
были намного
лучше!

ПЕРЕЕЗЖАЕТ РОЩА

С ума сошла
роща.
Переезжает
роща.
Деревья взволнованы,
они кричат:
«Едем!
Со всеми манатками,
с гусеницами мохнатыми,
с росою
позванивающей,
с жуком-короедом,
с божьими коровками,
с паутинной проседью...
Давайте в кузове машин
присядем по традиции.
А потом
подымемся.
А потом
тронемся...»
Ну а как —
с птицами?
Как же быть
с птицами?
Прилетят птицы
голубыми клиньями.
Над землей забьется
удивленный плеск...
Покружат,
потужат,
разведут крыльями.

Внизу вместо рощи —
голая плешь.

А в коридоре поезда,
в коридоре поезда
слышно,
как колеса
разговор ведут...
Мы едем,
мы едем,
хотя нам тоже
боязно:
вдруг прилетят радости
и нас
не найдут?

РАЗГОВОР С ГОРОЙ КАРАДАГ

Карадаг,
Карадаг,
я пришел
прощаться.
Был я в разных городах —
к тебе возвращался.
Разузнать,
как живешь,
что нового видишь.
Поглядеть,
как море пьешь
и никак не выпьешь.
Пьешь,
и больше ничего.
Ни на шаг —
в сторону...
Знал я дядьку одного —
тоже
пил здорово!
К рюмке он —
как репей.
Ох давал, бродяга!..
Нету
дядьки теперь.
Закончился дядька.
Может, лучше, что так,—
меньше стало
сутолоки...

Айда,
Карадаг,
махнем с тобой отсюдова!
Давай тебя унесем
от этой тихой пристани.
Пойдем с тобой туда,
где все
не гладко
и не приторно.
Там —
тайга,
там —
простор,
в любом ручье —
хариусы.
Реки там такие,
что
с морем потягаются!..
Я хвалить не мастак.
Приедешь —
удивишься.
В тот пейзаж,
Карадаг,
ты непременно впишешься.
Будешь слушать по ночам,
как филины ухают.
По твоим большим плечам
пройдет медведь-увалень.
Он пройдет напрямик...
Поедем,
бедолага!
Что?
Не хочешь?
Привык?..
Понимаю.
Ладно...
Я ведь тоже
привык
к своему счастью —
видеть снег,
слушать выпь,
в машинах
качаться.

Привыкаем мы все —
рано или поздно —
кто — к теплу,
кто — к росе,
кто — к гудкам поезда.
Привыкаем не смотреть,
куда ветер дует.
Привыкаем стареть.
Привыкаем думать.
Голодать,
холодать,
влюбляться неудачно...

Будь здоров,
Карадаг,
Карадачина!

НОЧЬЮ

Как тихо в мире!
Как тепло..,
А если в этой тишине
ты —
мне
назло,
себе
назло —
устала
думать обо мне!
И номер набрала рывком.
И молча отворила дверь...
Я, может, даже не знаком
с ним —
постучавшимся теперь.
А если и знаком,
так что ж:
он — чуткий.
У него —
душа...
И вот
в ладони ты идешь
к нему,
белея и дрожа.
Не понимаешь ничего...
А простыни —
как тонкий дым...

И называешь
ты
его —
забывшись —
именем моим.
И падаешь, полужива.
И задыхаешься от слез.
И шепчешь жаркие слова.
Все те.
Все самые.
Всерьез!
А сумрак —
будто воспален.
И очень пьяно
голове...
Телефонистка — о своем:
«Алло!
Кого позвать в Москве?»
«Кто подойдет».
Наверно, ты.
А если он, тогда...
Тогда
пусть вычеркнется навсегда
твой телефон!..
Из темноты
приходит медленная боль.
А я уже над ней смеюсь.
Смешно,
что я вот так
с тобой
то ссорюсь,
то опять мирюсь.
И мысли пробую смягчить,
весь —
в ожидании грозы.

Как долго
телефон молчит!
Как громко
тикают
часы!

МЕЧТА

Городок стоит у моря.
Я сюда приехал снова.
В этом городке зимою
одиноко-одиноко.
Здесь
работает на почте
(и начальником и замом)
девушка
с фигурой пони,
с очень летними глазами.
Вся она не здесь,
а раньше.
Вся — вчера,
а не сегодня...
Там,
где солнечно и праздно
в городок
влетали «Волги»!
Утвердив конец дороги,
дверцы весело стучали.
Чемоданы, как бульдоги,
из багажников
торчали.
Солнце жарило несносно
(в это не поверишь даже).
Парни,
раздувая ноздри,
величаво
шли
по пляжу.

А вокруг —
звенело!
билось!
жгло!
кокетничало!
пело!
Отдыхало,
торопилось
и с волны
сшибало пену...
Безрассудно!
Беззаботно!
Невозможно и нелепо...
Парень в голубой ковбойке
говорил:
«Приеду летом...»
Это было так недавно!
Так недавно.
Так неправда.
(Премии вчера не дали.
Вновь —
невыполненье плана.)
Были —
сомкнутые веки.
Было —
жаркое «спасибо».
...Заглянул купить конверты
продавец из магазина.
Шесть часов.
Конец работе.
Пломбы выверены точно.
Вывешен замок на почте.
Завтра —
так же.
Завтра —
то же.
Протянулись тени следом...

И идет навстречу лету
девушка
с фигурой пони.
Тихая,
как слово
«помни».

ОТВЕТ НА ЗАПИСКУ ИЗ ЗАЛА

У записки
начало деловитое.
А в конце —
прибавлено отважно:
«Я вам очень,
очень завидую!
И завидую жене
вашей».
И подписано:
«Студентка из Бауманского».

Как мне ей ответить?
Зал —
как прорва.
Ненадолго от регламента избавившись,
я хочу ей ответить.
Я попробую.
Вы знакомы
со стихами и овациями.
Прочитали вы афиши
роскошные.
И, как видно,
посчитали авансом
остальную нашу жизнь —
такой же.
Фейерверком!
Парадной арией
в празднично-возвышенном стиле...
Ну представьте,
если б
об армии

только по парадам судили.
Если б шел солдат,
помахивая ручкой,
элегантный,
разодетенький мужчина.
Если б не был землекопом он
и грузчиком,
кто сказал бы про него:
«Защитник»?!
И у нас —
свое.
Свои крутые штрафы.
Боль
и труд —
оглушительно тяжелый.
И своя —
суетливая —
слава.
И свои —
несчастливые —
жены...
Вдохновенье! —
Самому в себе
тесно.
Вдохновенье! —
Как мертвый
среди праздника.
Это —
раскалившееся сердце
около холодного разума!
Это —
как рожденье ребенка!
Это —
как личное рожденье!
Самая черная
работа.
Самое чистое
дело.
То,
в котором
покоя не предвидится!
То,
которое
оглушает ширью!

В нем ты
сам себе —
народ
и сам —
правительство.
И нельзя,
даже в малости,
сфальшивить!
И плывет земля
в метелях и громе.
И судьба ее
с твоей судьбой слита.
Это все дается
только кровью!
А ее в человеке —
пять литров...
Но держаться
нужно!
Вот мы и держимся.
И последнее у нас
еще не спето...

В общем,
дай вам бог
солнца,
девушка!
И доброго мужа.
Не поэта.

ПИСЬМО В ТРИДЦАТЫЙ ВЕК

(Поэма)

1

Эй,
родившиеся в 3000-м
удивительные умы!
Археологи ваши
отыщут,
где мы жили,
что строили мы.
Археологи ваши
осмотрят
всё до мелочи,
всё подряд.
Снимут ржавчину.
Ретушь смоют.
Сладковатый лак
растворят.
Пыль сметут движением нежным...
И откроются до конца
очень древние,
окаменевшие,
наши
песенные сердца.
Те, которые отгорели
на бессмертных кострах
правоты,
разорвавшиеся
от болезней,
не стерпевшие
клеветы,

натрудившиеся,
двужильные,
задохнувшиеся в скоростях...

Я хочу рассказать,
как жили мы.
Я пишу вам письмо,
хотя
между нами пути
неблизкие,
в человеческий рост
бурьян.

И к тому же
тетрадные листики —
слишком временный
материал.

Ну и ладно!
Пусть!
Я согласен.
Мир мой
тление опроверг.

Миллионы моих сограждан
пишут письма
в тридцатый век!
Пишут
доменными громадами
(по две тысячи тонн
в строке!).
Пишут письма
люди,

наматывая
на планету
витки ракет.
Пишут
тяжестью ледокола

там,
где не было ни строки.
Пишут письма,
беря за горло
океанский размах реки.
Пишут очень сурово и медленно,
силе собственной
удивясь...

Обязательно,
непременно
эти письма
дойдут до вас!

2

В 3000-м
в дебрях большого музейного здания
вы детям
о нашем столетье
рассказывать станете.
О мире,
расколотом надвое,
сытом и нищем.
Об очень серьезном молчанье
столбов пограничных.
О наших привычках,
о наших ошибках,
о наших
руках пропыленных,
ни разу покоя не знавших.
О том,
что мы жили не просто
и долг свой
исполнили...

Послушайте,
всё ли вы вспомните?
Так ли вы
вспомните?
Ведь если сегодняшний день
вам увидеть охота,
поймите,
что значат
четыре взорвавшихся года.
Четыре зимы.
И четыре задымленных
лета.
Где жмых —
вместо хлеба.
Белесый пожар —
вместо света.

А как это так:
закипает
вода в пулемете,—
поймете?
А сумрачный голос по радио:
«Нами... оставлен...» —
представите?
Поймете,
что значит
страна —
круговой обороной?
А как это выглядит:
тонкий
листок
похоронной.
Тяжелый, как оторопь.
Вечным морозом по коже.

Мы
разными были.
А вот умирали
похоже...
Прислушайтесь,
добрые люди тридцатого века!
Над нашей планетою
послевоенные ветры.
Уже зацветают
огнем опаленные степи...
Вы знаете,
как это страшно:
голодные дети!
А что это значит:
«Дожди навалились
некстати»,—
представите?
А как это выглядит:
ватник,
«пошитый по моде»,—
поймете?..
А после —
не сразу,
не вдруг
и не сами собою —
всходили хлеба

на полях отгудевшего боя.
Плотины на реках
крутые хребты
подымали.
Улыбку детей
к Мавзолею
несли Первомаи.
И все это было привычно.
Прекрасно и трудно.

И вот наступило однажды
весеннее утро.
Был парень,
одетый в скафандр.
И ракета на старте.
Представите?
А как он смеялся
в своем невесомом полете,—
поймете?
И город был полон улыбками,
криком,
распевами.
О, как это сложно —
быть первыми!
Самыми первыми!
Когда твое сердце
открыто нелегким раздумьям.

А были
и тюрьмы.
О, сколько неправедных тюрем!
Не надо,
пожалуйста,
не пожимайте плечами,—
и вы
начинаетесь
в нашем нелегком начале.
Нельзя нас поправить.
Нельзя ни помочь,
ни вмешаться...
Вам
легче —
вы знаете наших героев.
И наших мерзавцев.

Всех!
Завтрашних даже,
которые,
злы и жестоки,
живут среди нас.
А быть может,
рождаются только.

Но вы-то,
конечно, поймете,
конечно, узнаете,
как были верны мы
высокому
красному знамени,
когда,
распоясавшись,
враг
задыхался от ярости.
Когда в наше сердце
нацелены были «поларисы».
В газетах тревожно топорщились
буквы колючие.
А мы
проверяли себя
правотой Революции!
Пылала над нами
ее зоревая громадина.
Она была
совестью нашей.
Она была
матерью.
Мы быстро сгорали.
Мы жили
не слишком роскошно.
Мы разными были всегда.
А мечтали
похоже.
И вы не забудьте о нас.
Ничего
не забудьте,
когда вы придете,
наступите,
станете,
будете.

3

Расползаются слухи,
будто лава из Этны:
«В моду входят
узкие
брюки!
В моду входят
поэты!
Как встречают их,
боже!
Мода,
что ты наделала?!
В зале
зрителей больше,
чем поклонниц у тенора!..»

Это
слышу я часто.
Поднимаются судьи,
ощущая
начало
«священного» зуда.
Вылезают,
бранясь,
потрясая громами:
ах, мол,
разассонанс
вашу
милую маму!..
Как их вопли навязчивы!
Как их желчь откровенна!..

Вы простите,
товарищи
из тридцатого
века!
Не сдержался я,
хоть держался
месяцы.
Может, зря я вам твержу о мелочах!
Но поймите,
что для нас
эти мелочи,

в наших медленных,
бессонных ночах.
Эти мелочи
за горло взять могут.
Эти мелочи
тянутся к ножу...
Если правду говорить в глаза —
мода,—
что ж, считайте:
я за модой
слежу!
Отдаю ей дань
везде,
где возможно.
Повторяю:
продолжайся!
Звучи!..
Если Родину свою любить —
мода,—
с этой модой
смерть меня разлучит!..

Поднимается
поэзия в атаку,
отметая
словоблудие и лесть...
Знаю,
будут мне кричать:
«Опять в дидактику
ты, как прежде,
с головою залез!..
Это слишком...
Брось!..
Это — лишне...
Несъедобная —
для многих —
трава...»
Я спокойно отвечаю:
мне
лично
очень нравятся
высокие слова!..
Можно тьму страниц
заполнить балясами,—

пусть читатель
благоденствует всуе...
Только строки
не затем раскаляются,
чтоб потом на них
жарились глазуньи!
Чтоб взяла их
коленкоровая тина,
чтоб по цвету
подбирались корешки,—
расфасованное
мягонькое чтиво,
бесконечно тепловатые стишки.

Не для этого труда
поэты созданы!..
Но,
с другой стороны,
и я знавал
мастеров
произносить слова
высокие
и карабкаться
по этим словам!
Пробиваться к чину,
должности,
известности,
вылезать из кожи,
воду мутить.
Повторять:
«А я стою за власть
советскую!..»
Думать:
«Мне должны за это
платить!..»
Черта с два такие
верят во что-нибудь!
Но в любой кутерьме,
в любые дни,
к сожалению,
они
никак не тонут —
на поверхности
плавают они.

Это
их специальность и призвание.

Но закашляйся,
холуйское вранье!
Для меня
за высокими
словами —
настоящее,
кровное,
мое!
Очень тихое порой,
очень личное,
то летящее
в кипении и грохоте!
То больное до слез,
то неслышное,—
но
мое,
всегда мое,
до самой крохотки.
Я
высокие слова,
как сына, вырастил.
Я их
с собственной судьбою связал.
Я их,
каждое в отдельности,
выстрадал!
Даже больше —
я придумал их
сам!
Выше исповеди они,
выше лирики...
Пусть бушует в каждой строчке
простор.
Пусть невзрачные тетрадные листики
вместе с хлебом
лягут к людям
на стол!
Чтоб никто им не сказал:
«Угомонись...»
Чтобы каждый
им улыбкой ответил.

Потому что создаем мы
Коммунизм —
величайшую
поэзию
на свете!
Знаю:
будет на земле
от счастья тесно!
Я мечтаю,
что когда-нибудь смогу
не построчно получать,
а посердечно:
хоть одно
людское сердце
за строку.

4

Да!
Мы — камни
в фундаментах
ваших плотин.
Ход истории
точен и необратим.
Но опять мы встаем
из дымящихся лет,
мы —
живые, как совесть.
Простые, как хлеб.
Молодые,
как самая ранняя рань...
Мы
не верили
в ад.
Мы плевали
на рай!
Мы смеялись над богом!
Сами были богами.
И планета
гудела у нас под ногами...
Каждый день приносил вороха новостей.
Целовали мы теплых,
сопящих детей.

Уходили из дома
туда, где бои,
веря в сердце свое.
Веря в руки свои.

Сомневались мы?
Да.
Тосковали мы?
Да!
А еще
называли свои города
именами любимых.
И, жизнь торопя,
открывали
себя,
утверждали
себя!
Выходили со смертью —
один на один...
Да!
Мы — камни
в фундаментах
ваших плотин.
Но у этих спокойных, молчащих камней
было столько
пронизанных радостью дней!
Было столько любви,
было столько мечты!..
Мы
с планетой своей
говорили на «ты».
Нас несли самолеты.
Везли поезда...
Жаль, что времени
нам не хватало всегда!
Что его
никому не давали взаймы.

В землю
благословенную
падали
мы.
Оборвав свою песню,
закончив пути,—

семенами ложились,
чтоб завтра
взойти.
Мы мечтали о том,
как вы станете жить.
И от будущих дней
нас нельзя отрешить.
Мы
спокойны за вас.
Мы
обнять вас хотим.
Мы —
основа.
Фундаменты
ваших плотин.

5

Я пишу письмо в XXX век.
Просто.
Без особенных подробностей.

Слышу:
«Размахнулся человек!..
Эй,
приятель,
не помри от скромности!
Фантазируй!
Мы таких
видали.
Взялся удивлять —
так удивляй!..
Но зачем в тридцатый?
Можно дальше!
Что уж ты
стесняешься?
Валяй!
В пятисотый!
В тысячный!
Чего там?!
Ну, а если бить наверняка,—
ты б дожил
до будущего года,

пишущий
в грядущие века.
Сможешь?..»
— Я не знаю...
«Так-то,
парень!
Надо разобраться самому.
Твой эпистолярный жанр
забавен,
только он
не нужен никому.
Только он
никем не будет понят.
Ты об этом думал,
человек?..»

Я пишу.
И некогда мне спорить.
Я пишу письмо
в XXX
век.

6

Вы,
счастливые,
живущие в трехтысячном,
хоть на миг себе представить должны,
как в двадцатом веке —
строгое,
притихшее —
Человечество
глядит в лицо войны.

Почему мне это
иногда видится?
Почему мне в это
иногда верится?..
На последнем берегу —
Человечество...
Позабыты все цари
и все правительства.
Позабыты рассуждения о вечности...

На последнем берегу —
Человечество.
А над миром остальным —
туман стронция.
Никому не повезет,
не поздоровится.
Надвигается
бескровное месиво...
Речь идет не о годах.
Речь —
о месяце...
Все мечты о чуде будущем
брошены.
И осталось только прошлое.
Прошлое.
Много прошлого.
Чуть-чуть
настоящего.
Непонятного.
Хрупкого.
Пустячного.
А рассветы загораются
бледные...
Наступает все последнее.
Последнее!
Вот
последняя весна пришла —
нежная.
Никогда еще
такой весны
не было!
Никогда еще
так не цвели ландыши.
И запуталась роса
в травинках радужных.
И в реке —
теплынь.
Течет река летняя.
Все последнее,
последнее,
последнее.
Все кончается.
Конца
дожидается...

А в больнице
мальчишка
рождается.
Не урод рождается —
красавец рождается!
И плюет на все!
Ни с чем не считается.
Заявляет о самом себе
радостно!..
На него врачи глядят
с горькой лаской.
Облака плывут над ним.
Светло.
Доверчиво...
На последнем берегу —
Человечество.
И над мертвою землею —
солнце медное.
С океана дует ветер.
Мертвый.
Медленно.
И проклятия
становятся нелепыми...
На земле
отныне
ничего не было!
И Эйнштейна
не было!
И не было
Байрона!
И дождей
не было!
И не было
сполохов.
И берез
не было!
И танца «барыня».
И грамматики.
И Лувра.
И пороха.
И никто не сохранит
в людской памяти,
что такое бог.
И нищий на паперти.

Что такое поцелуй —
влажный,
трепетный.
Что такое сон.
И листья.
И лебеди.
И не будет
ни спасителей,
ни спасшихся...
Хватит!
Что я?!
Ночь длинна и черна.
До того черна,
что можно запачкаться,
если руку протянуть
из окна...

Вы,
счастливые,
живущие в трехтысячном,
хоть на миг
себе представить должны,
как в двадцатом веке —
грозное,
притихшее —
Человечество
глядит в лицо войны.
Переполнена
немирными заботами
до сих пор предгрозовая тишина...
А еще вы
ощутите и запомните:
на два лагеря
земля
разделена.
До предела напряженные нервы.
Под прицелами ракет —
любая пядь...

Красный флаг
над лучшей частью
планеты
очень многим в мире
не дает спать!..

Но прислушайтесь
к голосу разгневанному:
жаждой жизни
земля напоена!..
Мне
письмо мое писать
было б некому,
если б в мире
победила война.
Человечество
не хочет лезть в бункеры.
Человечество
не хочет лечь в бою!..
И когда вы на земле
жить будете,
берегите,
люди,
землю свою!

7

Да сбудется любовь,
пронизанная светом!
Звенящая над веком,
да здравствует
любовь!
Которой все
дано:
и муки,
и горенье!
Которая давно
перешагнула время!
Перенеслась в порыве
в грядущее Земли...
Не мы
ее открыли.
Не мы
изобрели.
Но все равно,
смотри!
Судьбою становясь,
она застигла
нас.

Она застигла
вас,
далекие мои.

Все повторится вновь!
И ахнет человек —
холодным
станет
зной!
Горячим
будет
снег!
Придет пора цветов,
брусники и грибов...
Спасибо, жизнь,
за то,
что я узнал
любовь!
Ее всесильный гнев
безвременья
страшней.
Запреты,
побледнев,
склоняются пред ней.
Она царит высоко.
Над ней
дожди звенят.
Ее невнятный шепот
слышнее
канонад.
Да здравствует
любовь,
пронизанная светом!
Да здравствует
любовь,
обнявшаяся с веком!
Пусть
в каждом новом дне —
чиста и непокорна —
любовь
идет ко мне,
идет,
как песня к горлу!

8

Над городами,
над тишиной —
звездные точечки...
Женщина,
спящая рядом со мной,—
мать
моей дочери.
Дышит
женщина рядом со мною
сухо и часто.
Будто она устала,
основывая
новое царство.
Ни пробужденья,
ни света,
ни сумерек —
как не бывало!..

Вдумайтесь,
сколько грядущих судеб
она
основала!
Сколько свиданий,
сколько рождений.
сколько закатов!
Слов непонятных,
жарких постелей,
светлых загадок...
Сквозь дымчатые облака
скользя,
выгнутся радуги.
Однажды,
проснувшись,
протрут глаза
внуки и правнуки.
Заполнит комнату запах
лесной
прелой травы...

В женщине,
спящей рядом со мной,
дремлете вы!

В женщине этой
затеплилась завязь
вашего века!..
В сером окне,
к стеклу прикасаясь,
выгнулась ветка...
Каждому в мире
имя
отыщется.
Дело найдется...
Но в котором из тех,
кто рожден
в трехтысячном,
кровь моя бьется?
Кто же он —
родственник мой шальной
в вашей стране?..
Женщина,
спящая рядом со мной,
стонет во сне.

Тени —
от пола до потолка.
Хочется пить...
Мы будем жить на земле,
пока
будем
любить!
Мне,
будто плаванье кораблю,
слово: «люблю!»
Строки
медлительные
тороплю —
люблю!
Глыбищи
каменные
долблю,
лунный луч
в ладони
ловлю,—
люблю!..
А у нашей любви
четыре крыла,

ей небо —
вынь да положь!
И ни одного
тупого угла —
острые сплошь!..
Но если та,
которая
спит,
вздрогнет вдруг от обид
и если,
муки свои
измерив,
обманет,
изменит,—
я зубы стисну
и прохриплю:
люблю!..

9

Ну, как живется вам
в тридцатом веке?
Кто из людей планеты
мир потряс?
Какие Сириусы,
какие Веги
в орбитах ваших беспокойных трасс?
А как Земля?
А что ей,
старой,
помнится?
Все счастливы?
Все сыты?
Всем тепло?..
Материки —
от полюса до полюса —
цветущими садами
замело.
Невиданных
хлебов
великолепье —
колышущийся
бронзовый прибой...

Да что я все о хлебе
да о хлебе?!
Я с детства
уважаю хлеб
любой!
«Спасибо!» —
говорю ему заранее...
Но после стольких тягот
и утрат
неужто Коммунизм —
большая жральня,
сплошной
желудочно-кишечный тракт?!
Неужто вы
едою одержимы?!
Добавочными ужинами
бредите?!
Работают
серьезные машины.
А вы
тупеете?!
А вы
жиреете?!
Не верю!
Невозможно так!
Не верю!!
Придуманная
злая ерунда...
Ведь если допустить
хоть на мгновенье,
что вы —
такие,
все смешно тогда!
Смешно,
что мы болеем общей болью
и нам пути иного
не дано!
Смешно,
что мы для вас
готовы к бою.
И даже то, что победим,—
смешно!
Нет!

Вы
    такими
никогда не станете!
Дорога ваша
                мир не рассмешит.
Я знаю,
незнакомые мечтатели,
вам будет тоже
                очень сложно
                                жить.
Придется вам
                и тосковать нежданно,
и вглядываться в новые века.
И разбираться
в неприступных тайнах,
которые не снятся нам
пока...

Знамена наши
                перейдут к потомкам,
бессмертным цветом
озарив года.
Еще краснее будут пусть!
                Но только
чтоб не от крови.
Чтоб
      не от стыда.

10

Я —
    по собственному велению,—
сердцу
        в верности
                поклянясь,
говорю
о Владимире Ленине
и о том,
        что главное в нас.
Вот уже,
            разгибаясь под ношей,
вырывается мир
из тьмы!

Начинаются горы
с подножий.
Начинаемся
с Ленина
мы!
Мы
немало столетий ждали
и вместили в себя
потому
силу
всех прошедших восстаний!
Думы
всех Парижских коммун!..
Неуступчивы.
Вечно заняты.
Мы идем
почти без дорог...
На истории
нет указателей:
«Осторожно!
Крутой поворот!»
Повороты встречались
жадные,
пробирающие как озноб.
Даже самых сильных
пошатывало.
Слабых —
вовсе валило с ног!
Жгли сомнения.
Шли опасности,
с четырех
надвигались
сторон...

Но
была на планете
партия —
та,
которую создал
он!
Мир
готов за нее поручиться
перед будущим
наверняка!

И лежит
на пульсе Отчизны —
вечно! —
ленинская рука.
Он —
ровесник всех поколений.
Житель Праг,
Берлинов,
Гаван.
По широким
ступеням столетий
поднимается Ленин
к вам!
Представляю яснее ясности,
как смыкают
ваши ряды
люди
ленинской гениальности,
люди
ленинской чистоты.
Не один,
не двое,
а множество!
Вырастающие, как леса.
И по всей Вселенной
разносятся
их спокойные голоса...
Что ж,
для этого мы и трудимся.
Терпим холод.
Шагаем в зной...
Ведь еще только начал
раскручиваться
и раскачиваться
шар земной.
Прозвучи,
сигнал наступления!
Солнце яростное,
свети!..
Все еще
впереди!
И Ленин,
будто молодость,
впереди!

11

Завидуйте нам!
Завидуйте!
До самых
седых
волос.
Вы
никогда не увидите
того,
что нам
довелось.
Завидуйте яростным,
полуголодным,
счастливейшим временам!
Завидуйте
нашим орущим
глоткам,
в которых
«Интернационал».
Мы жили.
Ветер
свистел в ушах.
Земля
светилась в восторге!..
Мы жили!
Мы сделали
первый
шаг,—
завидуйте нам,
потомки!
Не стоит хитрить,
будто мы вам
не очень завидуем.
Но зависть такая
бессильной
не кажется пусть!
Уже прогудели сквозь время
гудки басовитые.
Все точно.
Планета Земля
отправляется в путь.
Товарищи дальнего века!
Родные товарищи!

Завидую я
послезавтрашним краскам
Москвы.
Завидую морю.
Вечерней заре остывающей.
Дорогам степным,
по которым проходите вы.
Завидую солнцу.
Оно обожжет ваши лица.
С нездешнею грустью
гляжу на любую звезду.
Но мы еще
будем!
Вы слышите?
Мы
повторимся
в три тысячи первом —
запомните это! —
году.
Появимся запросто.
«Здравствуйте!» —
скажем векам.
Такие ж, как прежде,—
восторженные и безусые.
Мы
вашим,
потомки,
сердцам,
вашим рукам
доверим бессмертье —
доверим
свою
Революцию!

1963—1964

Из сборника
СЫН ВЕРЫ
1964—1966

ВЕСЕННИЙ МОНОЛОГ

За порогом —
потрясающие бездны.
Я в одну из них,
смеясь, беру билет...
Кто-то ночью под окном
пел песни.
Хулиган, наверно.
Или поэт...
Ошалелая капель
стучит в стекла.
Водосточная труба
пьяным-пьяна!
И над жадною землею распростерта,
как несбыточный покой,
голубизна.
Мир огромен.
Но сегодня в мире тесно!
И капели никого не пощадят...
Где вы бродите,
великие оркестры?
Вам бы в эти дни
играть на площадях!..
Все весеннее:
намеки,
и поступки,
и бездумные шаги по мостовой.
Все весеннее:
бульвары и простуды,
ветер,
пахнущий вчерашнею травой.

Верю я,
что есть улыбка в этом ветре.
Верю в ласковость и силу
сквозняка.
В постового застеснявшегося
верю.
И не верю только в синие снега.
Потому что на снега
лучи насели.
Солнце малое
дрожит в любом окне.
И ручьи,
как молодые Енисеи,
рвутся к лужам —
океановой родне!
Все торопится,
шарахается,
булькает.
Настигает.
Остается позади...

Что-то будет.
Непременно что-то будет.
Что-то главное
должно произойти.

СТИХИ О ХАНЕ БАТЫЕ

А. Ковалеву

А все-таки ошибся
старикан!
Не рассчитал всего
впервые в жизни.
Великий хан.
Победоносный хан.
Такой мудрец и —
надо же! —
ошибся.

Текла,
ревя и радуясь,
орда.
Ее от крови
било и качало.
Разбросанно горели города,
и не хватало стрел
в тугих колчанах.
Белели трупы
недругов босых.
Распахивал огонь
любые двери.
Дразнил мороз.
Смешил чужой язык.
И сабли
от работы не ржавели.
И пахло дымом,
пóтом и навозом...
Все, что еще могло гореть,
спалив,

к тяжелым пропылившимся повозкам
пришельцы гнали
пленников своих.
Они добычею в пути менялись.
И, сутолоку в лагерь принося,
всех ставили к колесам.
И смеялись:
«Смерть!» —
если ты был выше колеса.
У воина рука не задрожит.
Великий хан
все обусловил четко.

Везло лишь детям.
Оставались жить
славянские
мальчишки и девчонки.
Возвышенные,
как на образах.
Что происходит —
понимали слабо...
Но ненависть
в заплаканных глазах
уже тогда —
не детская —
пылала!
Они молчали.
Ветер утихал.
Звенел над головами
рыжий полдень...
И все-таки ошибся
мудрый хан!
Ошибся хан
и ничего не понял!..

Они еще построятся
в полки.
Уже грядет,
уже маячит
битва!..
Колеса были
слишком высоки.
А дети подрастают
очень быстро.

***

У киоска
поет Отелло
над изящным трупом жены...
Все
транзисторные антенны,
будто шпаги,
обнажены.
Из нахохлившихся домишек,
из садов,
из любой квартиры,
из карманов и из-под мышек
лезут песни,
льются мотивы.
То в цветном восточном обличье,
то мерцающие,
как свеча,
то приказывая,
то мурлыча,
то покрикивая,
то шепча.
Оголтелые,
злые,
зыбкие...
Слышишь:
снова на весь квартал
с бабьей грустью Людмилы Зыкиной
соревнуется
Поль Жетан.
Сквозь него проступает ария.

А за этой арией следом
гром
Ансамбля Советской Армии
кроет с жаром
по диксилендам!..
Треск морзяночного гороха
в перерывах —
вместо отдушины...
Так планета многоголоса,
будто этих планет —
полдюжины!
Усмехаются люди муторно.
Спят с транзисторами под головой.

И своя у каждого
музыка.
Свои песенки.
Выбор свой.

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Кумачи вихрастые
утром
запылают.

Пахнет свежей краскою
и мытыми полами.
Спящий город
прячет
настроение свадебное.
Спят гирлянды лампочек,
в полусне позванивая.
Спит,
забывшись с вечера,
лейтенант старательный.
Форма спит на плечиках —
летняя,
парадная...
В танцевальных залах
пусто и непесенно.

Завтра,
завтра,
завтра
радиолы взбесятся!
Завтра будет
выдано
и струнное
и медное.
Завтра будет
выпито
две реки —
не менее!

Станут рюмки —
крохотными.
Лица —
неотчетливыми.
То-то будет грохота
и топота чечеточного!
За столы
законные
сойдутся коллективы.

А пока над городом
бесконечно тихо...
Он
как будто светится.
Будто начат заново.
И еще не верится
в то, что праздник —
завтра...
И темнеют впаянно
чуть самодовольные
урны —
будто памятники
неизвестным дворникам.
Пахнет свежей краскою
и мытыми полами.

Кумачи вихрастые
утром
запылают.

ДРУГУ,
КОТОРОМУ Я НЕ УСПЕЛ НАПИСАТЬ СТИХОВ

Есть на свете
такие парни —
дышит громко,
смеется громко,
любит громко
и шепчет
громко!
Есть на свете
такие парни...
Есть на свете
такие парни!
К жизни
он припадает губами.
Пьет ее.
И напиться не хочет.

И когда —
такие! —
уходят
вдруг,
на взлете,
на взмахе,
на вздохе,—
как земля в сентябре,
обильны,—
ничего не чувствуешь.
Только
жжет обида.
Одна обида.
На кого — не знаю.

Обида.
И гадать не хочу.
Обида.

Есть на свете
такие парни.
Все для жизни в них —
не для памяти.
Память, в общем-то,
по иронии —
вещь
достаточно односторонняя.
И бубнить про нее округло
в данном случае
слишком глупо,
слишком горько
и бесполезно.

Мы —
живые.
Мы —
из железа.
Пусть намеком
пустые урны
крематорий
держит за пазухой.
Вновь меня
заполняет утро,
как улыбка
Женьки Урбанского.

ИГРАЮТ ГАММЫ

Е. Малинину

За стенкой дальней
играют гаммы...
Они
недавно
звучали в Каннах.
Они упорны,
они бесстрастны.
В них столько
пота,
что даже страшно.
Об этой странности,
как об открытии,
твердили
разное
в газетах критики.
Статьи подробные
понаписали...

Билеты
проданы
в концертном зале.
Сегодня вечером
весны
прибавится...
Рояль доверчиво
вздохнет под пальцами.
И —
откровением

за откровенность —
в прикосновении
родится вечность.

А в зале сядут
ребята
дельные
пятидесятых
годов
рождения.
Внимают нехотя.
Глядят загадочно.
Им очень некогда
волынить
с гаммами.
Земля заходится.
Она —
рискова.
Чего-то хочется
совсем другого!
Но так,
чтоб сразу
в разливах меди
с начальной фразы
пришло
бессмертье!

Земля взлохмачена.
Пыль
под ногами...

Терпите,
мальчики!
Играйте гаммы.

***

Мне уже в который раз
снится тот же самый сон:
затемненные дома
спину горбят.
До второго этажа
город снегом занесен —
неживой,
не простой,
старый город.
Долгой полночью накрыт.
Звездным инеем согрет.
На плечах моей земли —
снег налипший.
Будто он —
за тыщу зим.
Будто он —
на тыщу лет.
Только я и сквозь него —
слышу!
Слышу!
Продирается трава.
Продирается,
крича!
Так
продрогшее зверье
рвется к снеди.
У меня в ушах звенит
боль зеленого луча.
Я ползу,
я плыву
в темном снеге.

Я хочу спасти в траве
молчаливых светляков.
Но грохочет надо мной
мир уставший.
До травы,
как до весны,
невозможно далеко.
Далеко-далеко.
Даже дальше.
Нет еще других времен.
Нет еще других погод.
Лишь зыбучая метель
впала в ярость.

Это —
очень старый сон.
Это —
сорок первый год.
Это —
карточки на хлеб
потерялись.

***

Приходит врач, на воробья похожий,
и прыгает смешно перед постелью.
И клювиком выстукивает грудь.
И маленькими крылышками машет.
— Ну, как дела? —
чирикает привычно.—
Есть жалобы?..—
Я отвечаю:
— Есть.
Есть жалобы.
Есть очень много жалоб...
Вот,— говорю,—
не прыгал с парашютом.
Вот,— говорю,—
на лошади не ездил.
По проволоке в цирке не ходил.—
Он морщится:
— Да бросьте вы!
Не надо!
Ведь я серьезно...
— Я серьезно тоже.
Послушайте, великолепный доктор:
когда-то в Омске
у большой реки
мальчишка жил,
затравленный войною...
Он так мечтал о небе —
синем-синем!
О невозможно белом парашюте,
качающемся в теплой тишине...

Еще мечтал он
о ночных погонях.
О странном,
древнем ощущенье скачки,
когда подпрыгивает сердце к горлу
и ноги прирастают к стременам...
Он цирк любил.
И в нем —
не акробатов,
не клоунов,
не львов,
больших и грустных,
а девочку,
шагающую мягко
по воздуху,
спрессованному в нить.
О, как он после представлений клялся:
«Я научусь!
И я пойду за нею!..»
Вы скажете:
«Но это все наивно...»
Да-да, конечно.
Это все наивно.
Мы —
взрослые —
мечтаем по другому
и о другом...
Мечта приходит к нам
еще неосязаемой,
неясной,
невидимой,
неназванной,
как правнук.
И остается в нас до исполненья.
Или до смерти.
Это все равно.
Мы без мечты немыслимы.
Бессильны.
Но если исполняется она,
за ней — как ослепление —
другая!..
Исполнилось лишь самое начало.
Любовь исполнилась
и крик ребенка.

Исполнились друзья,
дороги,
дали.
Не все дороги
и не все друзья,—
я это понимаю!..
Только где-то
живут мечты! —
наивные, смешные,—
с которых мы и начали мечтать.
Они нам в спины смотрят долго-долго —
вдруг обернемся
и «спасибо» скажем.
Рукой взмахнем:
«Счастливо.
Оставайтесь.
Простите за измену.
Мы спешим...»
Но, может, это даже не измена?!

А доктор
собирает чемоданчик.
Молчит и улыбается по-птичьи.
Уходит.
И уже у самой двери
он тихо говорит:
— А я мечтал...
давно когда-то...
вырастить
овчарку...
А после
подарить погранзаставе...
И не успел...—
Действительно, смешно.

ЖЕНЫ КОСМОНАВТОВ

Не затаите обиды,
очень прошу,
не надо...
Но в общем-то
вы — обычны,
спутницы
космонавтов.
И согласитесь сами —
можно найти похожих
улыбкой или глазами,
причёской или походкой...
Было судьбе угодно
однажды
в разгаре мая
крикнуть хмельное:
«Горько!»
над свадебными
дымами.
Думали —
за незнатных,
не гуляк,
не монахов.
Вышли
за лейтенантов.
Вышло:
за космонавтов.

Сутки тянутся долго.
В сутках
разлита мука.

Вечная бабья доля:
ждать
возвращенья мужа.
С шахты
или завода,
с поезда
или с моря.
Всматриваться до звона
в это кино немое...
Только у вас —
иное.
Похоже,
а все ж — иное.
Слишком уж
неземное
радио над страною.
Бьет планета в литавры!..

Вам это слышать
странно.
«Как там они летают?..»
«Скоро ли им обратно?..»
Девочки,
женщины,
жены,—
пальцы ломая нервно,
смотрите опустошенно
в очень далекое
небо.
Входят в окно потемки
медленными
шагами...

Дошлые
репортеры
вспышками замигали.
Как бы вы ни просили,
как бы ни возражали,—
выйдут
ваши слезинки
тысячными
тиражами.

МАТРЕШКА

А. К.

Друзья,
мой выбор невзлюбя,
зря
голову морочили!

В тебе — четырнадцать
тебя
вместилось,
как в матрешке.

Живет со мною первая —
дородная,
степенная.

Вторая
больно колется,
за что — не разберу.

А третья — будто школьница
на выпускном балу.
Все — можно,
все — пожалуйста:
и небо и земля.

Четвертая
безжалостна,
как мертвая
петля.

А пятая —
зловещая,
приметам глупым
верящая.

Шестая
как эпоха,
где ни чертей,
ни бога.

Молчит,
не принимая,
ревнивая —
седьмая.

А следом за ревнивою
заохала ленивая,
ленивая,
постылая,
до мелочей земная...
Девятая — бесстыдная.
Девятая — шальная!

Десятая,
десятая —
испуганная,
зябкая,
над собственной судьбою
горюющая с болью.

Одиннадцатая —
щедрая,
загадочная,
нежная,
просящая прощения
за то,
чего и не было.

Качается двенадцатая,
как ягода лесная,
еще никем не найденная.

А дальше
я не знаю,
не знаю и настырничаю,
и все
не надоест,—
хочу достать четырнадцатую,
которая —
ты и есть!

СЫН ВЕРЫ

Ю. Могилевскому

Я —
сын Веры...
Я давно не писал тебе писем,
Вера Павловна.
Унесли меня ветры,
напевали мне ветры
то нахально,
то грозно,
то жалобно.
Я —
сын Веры.
О, как помогла ты мне, мама!
Мама Вера...
Ты меня на вокзалах пустых обнимала,
мама Вера...
Я —
сын Веры.
Непутевого сына
ждала обратно
мама Вера...
И просила в письмах
писать только правду
мама Вера...
Я —
сын веры!
Веры не в бога,
не в ангелов,
не в загробные штуки.

Я —
сын веры в солнце,
которое хлещет
сквозь рваные тучи.
Я —
сын веры в труд человека.
В цветы на земле обгорелой.
Я —
сын веры!
Веры в молчанье
под пыткой.
И в песню
перед расстрелом.
Я —
сын веры в земную любовь,
ослепительную, как чудо.
Я —
сын веры в Завтра,—
такое,
какое хочу я.
И в людей,
как дорога широких!
Откровенных.
Сто́ящих...
Я —
сын веры,
презираю хлюпиков.
Ненавижу плаксивых и стонущих...

Я пишу тебе правду,
мама Вера.
Пишу только правду...
Дел — по горло!
Прости,
я не скоро
вернусь обратно.

***

Говорила мама:
«Сынок,
уймись!
Чего тебе все
неймется?..»
Говорила мама:
«Делом займись...
Когда ж ты это
делом
займешься?..»

Дело мое, дело —
маета моя.
Мой восторг.
Мое любопытство.
Давняя усталость.
И крепкая шлея.
Торжество мое.
Моя пытка.
Может быть, и вправду
резона
нет
выводить
корявые буковки.
Может, где-то рук моих
дожидается нефть
с краю
от читательской публики.
Пусть бы
где-нибудь у серьезной реки

бригадир,
бровастый как демон,
по ранжиру выстроя
крутые матюги,
учил бы меня
заниматься делом.

Это — не кокетство.
Совсем не то.
Не буду я
ни для кого обузой...
Но уже проверил:
никогда и ни за что
дело мое
меня не отпустит.
Знаю,
куда бы меня ни занесло —
встанет на пути
неизменно
дело мое, дело.
Мое ремесло.
Радостная
высшая мера.

Но когда порою предзаревой
никчемными
кажутся слова,
я тихо усмехаюсь.
Качаю головой.
И думаю,
что мама была
права.

ЗОРГЕ

Еще опасаться рано.
И будет война
не скоро.
Задолго до Сталинграда
и даже
до Халхин-Гола,—
сутуловатый,
рослый,
кепочка на голове,
по подмосковной роще
прогуливается
человек.
Получено назначение —
приказа и сердца
власть...
Великая
Отечественная
уже для него
началась!
Продуманная привычка —
служба его
бессменная...

В зубах у него —
травиночка.
В глазах у него —
бессмертинка.

***

Мне
такою
нравится земля:
полная различного зверья.
Криками
то жалкими,
то вдруг
схожими с высокой медью труб.
Нравится минута мне,
когда
из низин крадется темнота
и восходят,
жмурясь и грозя,
желтые тигриные глаза.

Мне
такою
нравится земля:
птицы улетают за моря,
оставляя птичие права
всем,
кому и впрямь тайга мертва,
жестковаты
спальные мешки,
надоедлив
зыбкий звон мошки.
Для кого смешон огонь костра,
ночь — протяжна,
а река — быстра.

Мне
    такою
        нравится земля:
на сто километров нет жилья,
на сто километров — ни души.
Хоть кричи,
хоть жалобы пиши.
Жалуйся на зябкую росу,
на рассвет,
на шорохи в лесу,
на цветок, припавший к шалашу.
Жалуйся!
А я не поддержу.

Мне
    такою
        нравится земля!
Вся — в новинку.
В радость.
Вся не зря!
С первых дней
            и до последних дней...
А еще люблю я,
              чтоб на ней
вырастали
очень навсегда
пригороды леса —
.   города.

ДЕРЕВЬЯ

Ветер!
Деревья мечутся по саду.
Листья в этом ветре
кажутся искрами.
Ветер!
Они уже берут в осаду
новую,
пахнущую красками изгородь.
Грянули!
Нахлынули!
Почти одолели!
Ветер
не утихает ни на миг.
И кричат, раскачиваясь,
черные деревья,
ветви
за густые вершины
заломив...
Эта ночь наполнена
рокотом боя.
Над пустым садом —
отблеск грозовой.
За дрожащей изгородью
темное поле.
Поле
с насмерть перепуганной травой...
«Ну, куда вы лезете, деревья?
Куда вы?
Что вам не сидится?
Я ж знаю наверно:

вам в саду несладко!
А в поле — и подавно.
Ох, как много в поле
жесткого ветра!
Там он настоян
на бурях и на грозах.
К нему на подмогу
тучи приползли.
Он запустит руку
в спутанные кроны,
хохотнет
и всех вас вырвет из земли.
Верьте мне:
не будет ничего другого!..»
Но кричат деревья,
к земле наклонясь:
«Отойди, пожалуйста!
Не бери на горло.
Мы не можем больше!
Понимаешь нас?
Знаешь,
надоели нам сказки о простудах.
Знаешь,
надоело нам прозябать немо.
Если смерть наступит —
пусть она наступит
посреди
поля,
посреди
неба.
Посреди
жизни
разметнуть ветви.
Высоту мира
узнать не на словах!..»

В головах зеленых — ветер.
Ветер.
Синий.
В очень зеленых
головах.

БЕЛЫЙ ТАНЕЦ

Объявляется
«белый» танец.
Сверх положенного.
На прощанье.
Белый танец.
Одно из таинств
незатейливой танцплощадки...
И в немарком штапельном платье,
сквозь колышущий галдеж,
по площадке,
будто по плахе,
ты,
растерянная, идешь.
Ты идешь,
смешная, испуганная,
одинешенькой —
на толпу.
Выбираешь партнера,
будто бы
выбираешь себе судьбу.
Потому что теперь и раньше
так, что можно сойти с ума,—
все тебя,
тебя выбирали,
и ни разу —
чтоб ты сама!
Это жутко —
прожить без выбора.
Это страшно.
Страшней всего!..

Пиджачки,
ковбойки
и свитеры
ждут решения твоего.
Горделивые и понурые,
тугодумы и остряки...
Белый танец.
Это —
минутное.
Это, в сущности, пустяки.
Но объявленный жребий
выпал.
И тромбон в синкопах забился...
Белый танец.
Собственный
выбор...

Ой, как хочется не ошибиться!

Я И МЫ

А. Бочарову

Начинается любовь
с буквы «Я»!
И только с «Я».

С «Я» —
до ревности слепой.
С «Я» —
и до
небытия.

Понимаешь?
Я —
влюблен.
Понимаешь?
Я —
люблю.

Я!
Не ты,
не вы,
не он —
обжигаюсь
и терплю.

Никого на свете нет.
Есть она и я.

Вдвоем.
И на множестве планет
ветер
зноем напоен.

Лепет классиков?
Не то!
Лампочка
средь бела дня...
Я-то знаю,
что никто
не влюблялся
до меня!

Я найду слова
свои.
Сам найду!
И сам скажу.
А не хватит мне
Земли —
на созвездьях напишу.

И ничьих не надо вех.
До конца.
Наверняка.

Так и действуй,
человек!
И не слушай шепотка:
— Мы б в обнимку
не пошли...
Мы б такого
не смогли...

В наше время,
в тех
годах
мы
не танцевали...
так...
Неприлично...
Неприли...

Надымили!
Наплели!..
Все советы оборви.
Грянь
улыбкою из тьмы:
— Сами
мыкайтесь в любви!

Вы,
которые
на «мы»!

***

Взял билет до станции
Первая любовь.
Взял его негаданно.
Шутя.
Невзначай.
Не было попутчиков.
Был дым голубой.
Сигареты кислые.
И крепкий чай.
А еще шаталась монотонная мгла.
А еще задумчиво гудел паровоз...

Там, на этой станции,
вершина была.
Теплая вершина.
До самых звезд.
Ты ее по имени сейчас не зови,
хоть она осталась —
лицом на зарю...
Встал я у подножия
Первой любви.
Пусть не поднимусь уже —
так посмотрю.
Потянулся к камню раскаленной рукой.
Голову закинул,
торопясь и дрожа...

А вершины вроде бы
и нет никакой.

А она, оказывается,
в пол-этажа...
Погоди!
Но, может быть, память слаба?..
Снег слетает мудро.
Широко.
Тяжело.
В слове
буквы смерзлись.
Во фразе —
слова...
Ах, как замело все!
Как замело!..

И летел из прошлого
поезд слепой.
Будто в долгий обморок,
в метели нырял...
Есть такая станция —
Первая любовь.
Там темно и холодно.
Я проверял.

***

А я все тебе не пишу, не пишу.
Так уж выходит.
День не пишу.
Два не пишу.
И месяц...
Злая кассирша в окне
сортирует мелочь
и никаких уговоров
слышать не хочет...
Я уезжаю.
Шоссе белеет.
Закат потушен.
Под Шереметьево ветер кусты качает...
И самолет, зазнавшись,
нос задирает к тучам,
будто он в небе
самый большой начальник.
Ему приходится туго.
Он дышит взмыленно.
Перед возможной его бедою
все беды —
маленькие...
Я тысячу писем тебе написал.
Но только
мысленно.
Тысячу писем послал тебе
с красивыми марками.
Они, как телята,
в ладони твои неумело тычутся.

Они до поры молчат в темноте
почтового ящика.
И вот я пишу еще письмо.
Уже настоящее.
Отдельно ты его не прочтешь —
прибавь к тысяче...
Пусть будет по-твоему.
Пусть по-твоему.
Пусть по-новому.
Хотя над нами опять на части дробится
время, в котором люди
научились многому
и разучились
писать письма.

***

Все в этой осени повторимо.
Пахнет в троллейбусе нафталином.
Тучи осенние.
Солнце осеннее.
Город оделся в немаркое.
Серое.
Дремлют на лавочках тихие бабушки...
Что это?
Лес
разукрашен по-барски?
Или же вовсе не то?
Неужели
он приготовился к самосожженью?
Ветер,
врываясь в лесные глубины,
дует
на красные угли рябины.
Непостижимые,
необозримые,
встали березы
желтыми взрывами.
Веткам смолистым
с огнем не поладить.
Кружится осень.
Осень пылает!
Брызжет,
грохочет лиственной медью:

вот что могу я,
вот как умею!..

Листья лежат тяжело.
И похоже,
это —
        следы
                миллионов
                        прохожих.

ССОРА

Мы почему-то
живем втроем:
ты,
я
и ссора...
Вселилась,
облюбовав район,
въедливая особа.
Живет она два с половиной дня.
Все знает.
За всех решает.
Первой
она встречает меня.
Последней
меня провожает...
А я квартирантки не выношу —
я завожусь мгновенно!
И хлопаю дверью!
И ухожу!..
И ссора мне шепчет:
«Верно.
Правильно!
Действуй наверняка.
Тебе ж
неуютно и зябко.
Не возвращайся домой,
пока
я в этом доме
хозяйка!

Я на кухне
посудой стучу.
Звонка телефонного жду.
Я вздыхаю.
И я молчу,
вслушиваясь в темноту.
Уже
ничего нельзя изменить.
Слышишь меня? —
Ничего!..»

Ссора, кряхтя, за мной семенит.
А в голосе —
торжество:
«Видишь?
Переплелись пути,
и ты возражать устал».
Я отвечаю ссоре:
«Уйди!»
Я ей говорю:
«Отстань!»
Вижу,
ноги ее скользят.
Злобой полны зрачки.
И я поворачиваю назад.
И ускоряю шаги.

Пусть —
что будет, то будет.
Пусть
посредине дня,
как просвистевшая пуля,
твой вздрогнувший взгляд —
мимо меня.

***

Хочешь — милуй,
хочешь — казни.
Только будут слова
просты:
дай взаймы из твоей казны
хоть немножечко
доброты.
Потому что моя
почти
на исходе.
На самом дне.
Погубить ее,
не спасти —
как с тобою
расстаться мне!..
Складки,
врезанные у рта,
вековая тяжесть в руках...
Пусть для умников
доброта
вновь останется
в дураках!..

Простучит по льдинам апрель,
все следы на снегу замыв...
Все равно мы
будем добрей
к людям,
кроме себя самих!

Все равно мы
будем нести
доброту
в снеговую жуть!..

Ты казнить меня
погоди.
Может,
я еще пригожусь.

НЕРВЫ

В гневе —
небо.
В постоянном гневе...
Нервы,
нервы,
каждый час —
на нерве!
Дни угарны...
И от дома к дому
Ниагарой
хлещут
валидолы...
«Что слова?!
Слова теперь —
как в бочку.
Однова
живем на этой почве!»
Все
неважно,
если век изломан...

Где серьезность ваша,
старый Лондон?
Где, Париж,
твоя былая нега?
Жесткость крыш
и снова —
нервы,
нервы!..

Над годами —
от Ржева
и до Рима —
клокотанье
бешеного
ритма.
Ты над дочкой
застываешь немо?
Брось, чудачка!
Нервы,
нервы,
нервы!..

Руки вверх,
медлительность провинций!..
Нервный век.
Нельзя
остановиться.
Столб, не столб —
спеши осатанело...
Братцы,
стоп!..

Куда там...
Нервы...
Нервы...

Париж

ВЕНЕЦИЯ

К. Ваншенкину

И когда, казалось бы,
уже придумать нечего —
все видано-перевидано,
думано-передумано,
даже как-то слишком...
И — на тебе! —
Венеция.
Будто ветром брызнуло.
Будто светом дунуло...
На тебе!
Прохаживайся,
учи досконально.
На тебе!
Глуши ее восторгами увесистыми!..
А она помалкивает
в улочки-каналы.
Очень театральная.
Очень человеческая...
Можешь притворяться
бдительным и зорким.
Требовать от гида политической ясности.
Пожимать плечами:
«Глупая экзотика».
Глупая.
А все ж таки хороша дьявольски!
Глупая.
А нам ее все мало, мало!

Глупая.
Но лезут слова
высокопарные.
Мы теперь матросы
знаменитого мавра,
и под нами площади
покачиваются, как палубы...
Мы ложимся за полночь,
разомлев от нежности.
Дремлем, улыбаясь красоте по-доброму.
В кубриках ворочаемся,
слушая Венецию.
И плывем с Венецией к дому.
К дому.

В РИМЕ

Скажи мне,
что ты меня любишь

Чуть живы
дотошные люди.
Мы рано встаем,
озабоченно-неисправимы,
как будто сдаем
историю
Древнего Рима.
Ворочаем
темные камни его Колизея,
на прочее
проникновенно глазея.
Листаем
все площади Рима,
все улицы...
Устали
от этой возвышенной участи.
Мы сами
старинны.
Мы всех Колизеев
старинней.
Мы —
в Риме.
Но я вам сейчас —
не о Риме...
Мы рано встаем,
и заботами
каждый напичкан.

Живем,
будто сами
учебники пишем.
Где ветер кочевий
врывается
в отблеск надежды...
Мы пишем учебник.
Готовьте шпаргалки,
студенты!
А лучше поспорьте
с любою страницей,
как с догмой.
Ведь вам это после
продолжить.
Навечно продолжить!..
Пусть учатся
колкие люди,
идущие следом,
всем улицам,
всем громыханьям и лепетам.
Востокам и западам,
молчаниям
и мгновеньям.
Всем заповедям
верности вдохновенью.
Пусть учатся ливням
и детскому крику...
Мы —
в Риме.
Мы бродим по Риму.
Мы в Риме.
Мы —
старые люди...

Соври мне,
что ты меня любишь.

НА АЭРОДРОМЕ ОРЛИ

Ровный клочок земли,
слабенькая трава.
Аэродром Орли.
Мы улетаем
в два.
Обычная толчея.
Прощай,
страна Марианн!..
Вот ожидает семья
рейса на Монреаль.
Монашки
гуськом идут —
качается связка книг.
Скоро и нам...
Но тут
женский голос
возник.
Я ощутил его
сразу и навсегда.
Плыл он
из ничего!
Падал он
в никуда!
Как шелестенье птах,
как долгожданный взгляд...
Дикторша?!
Разве так
дикторы
говорят?..
Вслушайся!

Рассуди —
как я это стерплю?!
Так говорят:
прости.
Так говорят:
люблю!..
Я во французском —
профан,
но сердце перевело.
Я чувствую,
что пропал!
Мне боязно и тепло.
Голос —
полночный гимн,
медленный,
будто степь.
Шепотом
жарким
таким
любимых зовут в постель.
Он —
как бедра изгиб.
Он —
как в сердце ножом...
Братцы!
А я
погиб!
Хлопчики!
Я пошел...
Сам не знаю,
куда
голос меня зовет...
А друг говорит:
«Балда!
Объявлено —
наш самолет!»

Париж

РУЛЕТКА

Рулетка!
Вот вы не знаете о ней,
а это
очень интересно...

Калека,
превозмогая паралич,
привстал
с продавленного кресла.

Девица,
чтоб не закричать,
платочком
рот закрыла плотно.

Крупье
надменен,
будто он
потомок
целой стаи лордов...
А с краю
интернациональный хлыщ
и нарумяненная дама
играют!..
Рулеточное колесо
как будто
спелый взгляд удава...

Рулетка!
Она летит, летит!
Да так,
что в горле пересохло.

Налей-ка,
хитрюга бармен,
рюмку чертового сока!..
Собратья!
Нечего грустить,
о бренном житии трепаться.
Сыграем!
Во что хотите.
Можно в карты.
Можно даже так —
на пальцах.
Заботитесь?
Ну что ж,
давайте сыгранем в заботу,
о дальнейшем
не кручинясь.
Не бойтесь!
Мы не обманем.
Не обманем.
Мы еще не научились.
Поэтому
плевать,
что кто-то одинок,
ждет помощи,
а кто-то плачет!
Поехали!!
Четыре сбоку.
Наших нет.
Не пляшут наши.
Ваши пляшут...
Поправим!
Пусть будет ставкой —
совесть!
Чтоб глаза осоловели...
Сыграем!
Давайте кинем кости.
Лучше сразу —
человечьи.
Пусть по степям они покатятся
и там белеют
зряшно...
Крупье спокоен,
будто кладбище.

Он стар.
И это страшно.
Крупье орудует лопаточкой.
Плывут орлы и решки.

И шар земной
летит сквозь ночь,
как будто
шарик от рулетки.

Париж

ВОЮЮТ НАДПИСИ

А здесь вовсю воюют надписи!
Разборчивые.
Ключевые.
Категоричные до наглости.
Короткие,
как очевидность...
С плаката сытого,
лощеного
нахмуренная личность
глянула.
В нее листовка,
как пощечина
(аж брызги разлетелись!),
вляпана...
А эту надпись
нынче ночью
сдирали, будто кожу —
заживо!
Сдирали так,
что даже ноготь
остался —
в штукатурку всаженный.
А этот лозунг взяли подкупом,
и он сползает со стены...
Война идет!
Я пахну порохом
неслышной буквенной войны.

Париж

***

Где-то оторопь зноя
с ног человека валит.
Где-то метель по насту
щупальцами тарахтит.

А твоего солнца
хватит
на десять Африк.
А твоего холода —
на несколько Антарктид...
Снова,
крича от ярости,
вулканы стучатся в землю
Гулким,
дымящимся клекотом
планета потрясена.

А ты —
беспощадней пожаров.
Сильнее землетрясений.
И в тысячу раз беспомощней
двухмесячного пацана...
Оглядываться не стоит.
Оправдываться не надо.
Я только все чаще спрашиваю
с улыбкой и тоской:
— За что мне
такая мука?
За что мне
такая награда?
Ежеминутная сутолока.
Ежесекундный покой.

***

Л. Жуховицкому

Сейчас весна
в походе.
Сейчас дожди
горазды...
Но вопреки
погоде
мы все-таки
сгораем.
Горение,
горение! —
закон
земного шара.
И чем Земля быстрее,
тем яростней пожары.

Вот инвалид
притихше
и скорбно говорит:
«Нутро горит,
братишка...
С войны еще
горит...»
А рядом —
веком избраны
для помыслов саженных —
кричат истошно
искорки
в руках у акушеров...

Напористо,
усердно
в горячке
бьется мысль.
Кипит вода в бассейнах
от раскаленных мышц...
Погаснуть
не пытаемся
(напрасные старания).
По улицам
шатаемся
веселыми кострами.
И каждый день,
как опыт,—
неведом
и горяч...
Горит
на сыне обувь.
Не уследишь —
хоть плачь.

Горение,
горение...
Преследуют и дразнятся
горячие
колени
серьезной одноклассницы.
От логик
до туманностей
миры
в себя вбираем.
До крохотки,
до малости
сгораем.
Сгораем.
Раздумываем
трудно,
рассвету поклянясь...
Костер
Джордано Бруно
еще пылает
в нас!..
Завяли чьи-то жалобы,—
сейчас они смешны...

Сердечными пожарами
дома
освещены!

За сорок дней до лета,
до всех его красот,
раскалена
планета.
Аж подошвы жжет!

ВЕТЕР НА ЮГЕ

Л. Устинову

Ах, какие ветра на юге —
безответственные
до невозможности!..
У девчонок
взлетают юбки
выше,
чем вы представить можете.
Ах, какие ветра густые,
к удовольствию северных жителей!
Ах, какие они настырные!
Ах, какие они продолжительные!
По утрам
созданья эфирные
у прибрежной дрожат полосы.
Вся одежда —
листочки фиговые,
прикрывающие носы.
Ветер только еще расходится,
он еще
не в полный накал.
Ветер колется,
а людям хочется
привезти в города
загар.
Ах, какие ветра запутанные,
где-то в скалах далеких
гаснущие!

Ах, какие они попутные
для бегущих,
для испугавшихся!
Здесь для хлюпиков —
хоть ты вешайся —
никаких условий не создано...
Ах, какие ветра невежливые!
Ах, какие они бессовестные!
Море вспенено.
Море вздыблено.
Морю
нравится эта игра.

Ах,
какие необходимые
здесь на юге
дуют ветра!

КОРОЛЕВА ПЛЯЖА

В. Ежову

И была там королева пляжа...
Пляж,
лениво вглядываясь в волны,
по утрам дымился,
будто плаха
после исполненья приговора...
В этот час —
как будто отвлеченно
от погоды,
моря
и вселенной —
шла по пляжу
рыжая девчонка.
Мы ее прозвали
королевой.
Проходила,
как землетрясенье!
Проходила
вызовом веселым.
По уютным письмам
и по семьям
шла она
нежданным ревизором.
Очень жглась
и слишком понималась,
от прически до ногтей
крамольна...

На локтях
мужья
приподнимались.
Говорили:
«Чудо —
это море!..»
Только жены
не желали чуда.
Вздрагивали жены,
будто чуя
недруга.
Едины и усердны,
расставляли крылья,
как наседки.
Их глаза решимостью сверкали
(королева проходила мимо).
А они ее
вовсю
свергали!
И топтали.
И до дна громили.
Косточки в муку перетирали,
заходясь
в высоком наслажденье,
потому что были
мастерами
в этом самом
очень женском
деле.
С ними было спорить бесполезно...
Королева шла легко,
спокойно.
И плескалось море
в королевстве.
И синели в королевстве
горы.
Королевство
(это было видно)
разделялось
на две половины.
На одной —
святое раболепье.
На другой —
проклятья королеве.

ЖАРА

Я
такой жары
еще не помню...
Жарко паутине.
Жарко полдню.
Жарко сквозняку,
дыханью,
шагу.
Жарко...
Кажутся несбыточными грозы.
И собака,
будто после кросса,
дышит
лихорадочно и жадно.
Жарко...
Даже рекам
духота понятна.
Небо за неделю полиняло.
Яблони распарились,
обвисли...
Медленно
пе-
ре-
пол-
за-
ют
мысли
с яблоней
на сморщенные перья.

Даже не переползают —
пере-
валиваются
и засыхают,
Засыхают,
будто засыпают...
Жарко.
Тишина.
Оцепененье.
Вянут подходящие сравненья.
Даже слову,
даже буквам
жарко.

...Ну вас к черту!
Надоело —
в рифму!

ПАМЯТИ МИХАИЛА СВЕТЛОВА

Какие памятники ставятся волшебникам?
Из мрамора?
Из бронзы?
Из стекла?..

Довольствуемся
слабым утешением,
что нас позвали
важные дела.
Так повелось,
что вечера задымлены,
и опровергнуть ничего нельзя...
При жизни —
рядовые собутыльники.
А после смерти —
лучшие друзья.

Однажды в полдень
сказку встретить можно.
Не проходи
и запросто присядь.
А сказка
курит,
пьет коньяк с лимоном
и спрашивает:
«Как живешь, босяк?..»
И вот уже с начала жизнь задумана!
Построен за ночь
город на песке...

Сидит на стуле
добрая
сутулая
романтика
в усталом пиджачке.
Она и не кончалась —
время не было.
Она не отдыхала —
век не тот.
Она, прервав остроты,
нежно-нежно
на солнце
руку тонкую кладет.
Молчит —
а пальцы слушаются слабо.
И непривычно тихо за столом...

Струится и подрагивает
слава,
как воздух над пылающим костром.

***

Не верю в принцесс на горошинах.
Верю в старух на горошинах.
Болезнями огорошенных.
Дремлющих осторожно...

Они сидят
над чаями
Возвышенно
и терпеливо,
чувствуя,
как в чулане
дозревает
царство наливок.
Бормочут что-то печальное
и, на шаткий стол опершись,
буквами пишут печатными
письма
длиною в жизнь...
Постели им —
не постели.
Лестницы им —
коварны.
Оладьи для них —
толстенны.
А внученьки —
тонковаты...
Кого-то жалея вечно,
кому-то вечно мешая,

прозрачны
и человечны,
семенят
по зе́мному шару...
Хотят они всем хорошего.
Нянчат внучат покорно.

А принцессы
спят
на горошинах.
И даже очень спокойно.

***

Гитара ахала,
подрагивала,
тенькала,
звала негромко,
переспрашивала,
просила.
И эрудиты головой кивали:
«Техника!..»
Неэрудиты выражались проще:
«Сила!..»
А я надоедал:
«Играй, играй, наигрывай!
Играй что хочешь.
Что угодно.
Что попало».
Из тучи вылупился дождь
такой наивный,
как будто в мире до него
дождей
не падало...
Играй, играй!..
Деревья тонут в странном лепете...
Играй, наигрывай!..
Оставь глаза открытыми.
На дальней речке
стартовали гуси-лебеди —
и вот, смотри, летят,
летят и машут крыльями...
Играй, играй!..

Сейчас в большом
нелегком городе
есть женщина
высокая, надменная.
Она, наверное,
перебирает горести,
как ты перебираешь струны.
Медленно...
Она все просит
написать ей что-то нежное.
А если я в ответ смеюсь —
не обижается.
Сейчас выходит за порог.
А рядом —
нет меня.
Я очень без нее устал.
Играй, пожалуйста.

Гитара ахала.
Брала аккорды трудные,
она грозила непонятною истомою.
И все,
кто рядом с ней сидели,
были струнами.
А я был —
как это ни странно —
самой тоненькой.

ПАЛАНГА

А. Малдонису

«Пала́ук»
значит
«подожди».
Паланга —
значит,
идут дожди.
В аллеях скучно.
Темно в палатках.
А ты
пала́ук.
Ты пала́ук.
Тогда увидишь ее такою,
как я увидел.

Устали ветры.
И солнце
в дюны вонзило корни,
и там они проросли мгновенно.
И стал песок
первозданно желтым,
он лился расплывчатым жидким шелком.
Он терся щекой.
Он кипел под ногами.
И плавился.
И расходился кругами...

Я точно тебе не скажу,
но, наверно,

солнце
было и снизу
и сверху.
Оно по соснам текло,
содрогаясь.
И даже море перепугалось...
И посредине такого разлада
стояла
застенчивая Паланга
и водоросли перебирала рукою...
Еще ты увидишь ее такою.

«Пала́ук»
значит,
«подожди».
Паланга —
значит,
идут дожди.

ВВЕРХ — ВНИЗ...

Пусть продолжается наше кочевье.
Ты от привычного
отмахнись...
Владивосток
будто качели:
вверх — вниз,
вверх — вниз...
Это —
без наигрыша и рисовок —
у океана
природа учится.
Это
на спины щербатых сопок,
сопя и кряхтя,
взбираются улицы.
С этими улицами поспорь.
Их крутизну положи в конверт...
Владивосток
будто любовь:
вниз — вверх,
вниз — вверх...
Капли прибоя
утри со лба,
ветру серьезному поклонись...
Владивосток
будто судьба:
вниз — вверх,
вверх — вниз...

Та ли дорога
или не та,—
в наших ладонях
бессонный век...
Владивосток
будто мечта:
вверх,
вверх,
вверх,
вверх!

ХАШИ [1]

Кому — кофе,
кому — каши,
а мне — хаши,
хаши,
хаши!
Хаши!
Подъезжают в миске,
будто пленники
к Орде.
Как мятущиеся мысли
Каракумов
о воде...
Хашами одними бредят
предвкушающие рты...
Погоди!
Еще не время.
В хашах
нету остроты...
Мы себя не опозорим.
Мы сидим,
наморщив лбы.
Хаши солим,
хаши солим,
будто на зиму
грибы.
Мы стараемся на совесть —
закружила,
понеслась! —

[1] Х а ш и — грузинское национальное блюдо.

льем туда
чесночный соус
и размешиваем всласть.
Соль
поскрипывает ржаво...
Ладно!
Можно и начать...
В ложке
белого пожара
капля жира,
как печать...
Эй, приятель,
ты напрасно
сигареткой задымил.
Надо выпить
за прекрасный,
но бездарно пресный
мир!
Мы еще его
подсолим.
По нему,
смеясь, пройдем.
Море с берегом
поссорим.
Дьявола
изобретем!..
Солим
крупно и жестоко.
Горло —
в радужном огне.
И пощипывают
только
пересолы
на спине.

ПИСЬМО ИЗ БУХТЫ Н.

Пишет тебе
капитан-лейтенант.
Пойми,
что письмо для него
не внезапно.

Как там у вас дождинки звенят
по тихим скамейкам Летнего сада?..
Мне надоели
щенячьи слова.
Глухие: «А вдруг».
Слепые: «А если».
Хватит!..
Наверное, ты права
даже в своем откровенном отъезде.

Жила.
Замирала, остановясь.
И снова по комнате нервно бродила.
И все повторяла:
«Пустынно у вас...»,
«У вас неприютно...»,
«У вас противно...».
Сто раз примеряла платья свои.
И дотерпела только до мая...
Конечно,
север —
не для семьи.
Я понимаю.
Я все понимаю...

Здесь ночь,
у которой не сыщешь дна.
Скалы как сумрачные легенды.

Так и случилось,
что стала
«жена»
очень далекой
строчкой анкеты.

Мне передали «письмо от жены».
Пишешь:
«Служи,
не мучайся дурью...»
И — фраза о том, что
«мы оба
должны
вместе
о будущем нашем подумать».
Вместе!..

Наверно, решится само.
Перегорит.
Пройдет через сито...
Я перечитываю письмо,
где:
«Перевод получила.
Спасибо».
Издалека приползший листок.
Просто слова.
Деловито и пошло...
Впрочем, спасибо.
Не знаю —
за что.
Может,
за то, что работает почта...
Глупо все заново начинать,
но каждая строчка
взрывается болью!..

Сидит за столом
капитан-лейтенант
и разговаривает с тобою:

— Мне некогда,
попросту говоря.
Слышишь!
Зачем ты понять не хочешь?
Некогда!
Некогда!
Некогда!!
Зря
и через «некогда!»
ты приходишь.
Пришла?
Помоги мне обиду снести.
Тебя считать прошлогодней мелью.
И все!..
А больше
писем не жди.
Это —
последнее.
Если сумею...
Сумею.
К этому я готов.
Считай, что кончилось все
нормально...
Есть жены,
которые —
для городов.
Я понимаю.
Я все понимаю...
У нас ревуны в тумане кричат
и полночь наваливается оголтело...
Но, кроме погон,
на моих плечах
служба моя.
Профессия.
Дело.
Его —
по горло!
(Даже взаймы
выдать могу,
если примешь присягу.)
Живи...
Привет от нашей зимы
слишком знакомому
Летнему саду.

ЖИВЕМ НА «ТОВСЫ»

Не скоро
дождь
над скалами набухнет...
Живем на «товсы!»,
и это —
наши будни.
Не спят казармы
в гарнизонах дальних.
Не спят глаза
нахмуренных
радаров.
И мы глядим
угрюмо и бессонно
туда,
где дым
повис над горизонтом.
Где в дебрях ночи,
отсвечивая тускло,
авианосцы
черные
крадутся.
И если вдруг
чужие
глянут
жерла,
от наших рук
тогда
придут в движенье
под свист пурги,—
земно и беззаветно,—

все рычаги
мгновенного
ответа.
Все ураганы
вздыбленной России!..
Я не пугаю.
Но сила —
это сила.
И на парадах
и в бою
(тем более).
...Сегодня праздник песни
в средней школе.
Смеется дочь
и требует
обновок.

Живем на «товсь!».
У самых главных
кнопок.

СТИХИ О СЛОЖНОСТИ

Подъезды встречают мерцаньем нечетким,
и бухает дверь за спиной деловито...
В подъездах
целуются парни
с девчонками.
А я им завидую.
Очень завидую...
Я все это помню до малых подробностей:
дорога еще непонятна,
не начата.
И сразу же —
нагромождение сложностей,
в которых земля
для любви предназначена.
Впервые приходится
сложно молчать,
все понимать с полуслова.
И на записки
не отвечать
загадочно,
долго,
сложно.
Впервые пугают
случайные взгляды.
И время
как вкопанное остановилось!
И веришь в великие
сложные клятвы...
Неужто из сложности этой
я вырос?!

Я старше.
Я здорово знаю сам:
пустяшней
всех пустяков
к девичьим сердцам,
дрожащим сердцам
подбирать
отмычки стихов.
Как все это просто!
До смеха.
До жути.
Далекие клятвы
однажды затихли...
Влюбленные мальчики,
не обессудьте!
Наверно,
и вас
простота настигнет...
Целуются
восемнадцатилетние
самозабвенно
и неутомимо.
В восторженном лепете,
собственном лепете
для них
открывается сложность мира!..

А я
опускаю голову вниз.
Влюбленных я обхожу осторожно.
И очень тихо прошу:
— Вернись,
та,
первозданная сложность.

***

Жалею,
жалею девочек,
очень смешных
девочек,
еще ничего
не сделавших,
уже ничего
не делающих.
Еще жалею
мальчиков,
очень смешных
мальчиков —
пестрых,
пижонистых мальчиков,
мальчиков-ремарчиков...
Я тоже
люблю Ремарка,—
и значит,
вполне нормально,
что мне поспешными кажутся
статейки
ругательно-ханжеские.
Романы его мне нравятся,—
и это сказать мне хочется...
Но есть
небольшая разница:
мы с мальчиками
расходимся.
Они зазубрили начисто,
вчитываясь в Ремарка,

названия вин
ненашенские,
звучащие ароматно.
Они говорят
девочкам —
очень смешным девочкам:
«Детки,
имеются
денежки!
Найдем применение
денежкам?»
Так что и думать нечего!..
Музыка —
будто плетка.
Крутится бесконечная
магнитофонная
пленка...
Они танцуют неплохо,
они хохочут азартно,
они веселятся
громко!
Яростно и надсадно!
Они веселятся
дерзко!..
Но все их веселье
обманчиво...
Разве вам весело,
девочки?
Разве вам весело,
мальчики?
Не верю я громкой музыке,
не верю нарочной игре...
Вам ведь тоскливо,
как мухе,
проснувшейся в январе.
Бродит она по стенке —
по неуютной громадине...
Сколько веков вам,
девочки?
Сколько минут вам,
мальчики?
Ваша веселость —
маска.
Немощен ваш размах...

Бросьте
кивать на Ремарка!
Здесь ни при чем
Ремарк!
Ваша любовь? —
Пустое...
Ваши мечты? —
Пустое...

Вот ведь какая история.
Очень смешная
история.

***

Ты мне сказала:
«Ночью
тебя я видала
с другой.
Снилось:
на тонкой ноте
в печке гудел огонь.
Снилось,
что пахло гарью.
Снилось:
метель мела.
Снилось,
что та — другая —
тебя у метро ждала.
И это было
началом
и приближеньем конца...
Я где-то ее встречала —
жаль,
не помню лица.
Я даже тебя
не помню.
Помню,
что это —
ты...
Медленно
и небольно
падал снег с высоты.
Сугробы росли неизбежно
возле холодной скамьи.

Мне снилась
твоя усмешка.
Снились
слезы мои...
Другая
сидела рядом.
Были щеки
бледны...
Если все это —
неправда,
зачем тогда
снятся сны?!
Зачем мне —
скажи на милость —
знать запах
ее волос?..»

А мне
ничего не снилось.
Мне просто
не спалось.

Из сборника ВСЕРЬЕЗ
1965—1968

ДНИ РОЖДЕНИЙ

Луна,
сквозь тучи прорастая,
глаза зеленые скосила...

Родился я
в селе Косиха.
Дождливым летом.
На Алтае.
А за селом
синело поле
и пахло
ливнем переспелым...

Нет!
Я родился
много позже.
Потом.
В июне.
В сорок первом.
И жесткий голос
Левитана
был колыбельною моею.
Меня
война в себя впитала.
Я — сын ее.
Я полон ею...
Кричали о победе
трубы.

Над площадью
салют светился...
Мне повезло.
Я встретил
друга.
И с ним как будто вновь
родился.

Жил —
не богатый и не бедный.
Острил.
Под простачка
рядился.
Наедине с бумагой,—
белой,
как изморозь,—
я вновь
родился!..
Дрожал от странного озноба.
Протестовал.
Себя стыдился.
Сказал: «Люблю»,—
родился снова.
Услышал: «Нет!» —
и вновь
родился.

Шел век —
ожесточенно-труден,—
для сладких песен
не годился.
Я только на секунду
струсил.
И превозмог.
И вновь
родился.

О, дни рождений!
Дни рождений!
Дни грусти
и освобождений.
Дни праздников,
пора зачатья,—

без вас я —
будто дом
без счастья.
Пока мои глаза открыты,
я дни рождения
встречаю.

И торжествую
в первом крике!
И все идет опять
сначала.

УТРЕННИЕ СТИХИ

Уже проснулся
дом,
потягиваясь тайно.
В нем,—
как в лесу густом,
движенье,
бормотанье.
Как тысяча
рапир,
зазвякала посуда.
К зарядке
приступил
сосед —
работник ЦУМа.
Звучат его шаги,
как вечное возмездье.
Сейчас пойдут
прыжки,
потом —
ходьба на месте.
Дверь хлопнула вдали.
Окно —
в дождинках крупных.
Вовсю гудят шмели
в водопроводных трубах.
Лифт
ссорится с людьми
от перенапряженья...
Уже проснулся
мир.

Уже пришел в движенье.
Под камни
в темноту
переползают крабы.
В задымленном порту
зашевелились
краны.
Будя себя самих,
топорщатся пороги.
Тяжелый грузовик
ревет на повороте.
Метро
вошло в азарт.
Открылись магазины.
Заговорил базар.
Гудки заголосили.
Букашкой со стола
срывается
курносо
гремящая стрела
с груди
авианосца!..

Ворочаюсь впотьмах
от
радиофальцета.
Ведь слышимость
в домах
и в мире —
равноценна.

***

А. Бабаджаняну

Вот звезды падают.
Добротные,
мясистые.
Шипя, уходят
в темноту морей.
Стучат по берегу,
по крышам сыплются...
Загадывай желание скорей!
Легко-то как!
Поймай паденье звездное.
Не дай звезде
уйти в небытие.
И сразу же
из ничего,
из воздуха
исполнится
желание твое.

Послушайте!
Не суетитесь нервно.
А что же все-таки произойдет,
когда
однажды ночью
облысеет небо?
Однажды выпадет
последняя звезда?
Кому тогда нести
свои желанья?

На чьем плече
выплакивать беду?
Где?
Над какою
Новою Зеландией
искать
еще не падшую
звезду?
А как существовать
в беззвездной бездне?
С тоской по Солнцу.
С мыслями врасхлест...

Вновь
звезды
падают.
Но что поделать,
если
одних моих желаний
больше звезд?!

***

Может быть, порыв —
банальный.
(Все равно что дом проветрить.)

Свой мешок воспоминаний
я вчера
решил проверить.
К датам и событьям
нежно
и неслышно
прикасаясь,
стал испытывать я нечто.
То ли радость.
То ли зависть
к самому себе.
Другому.
Обнимающему землю.
К ошалелому разгону.
К беспричинному веселью.
Я глядел на все —
притихший,
приобщался к странной тайне:
были вместе,—
а поди ж ты!
Жили рядом,—
а куда мне!
Я старался быть спокойным.
А они —
воспоминанья —
были будто крик:
«По коням!» —

грохотали, подминая.
Оглушали.
Тормошили,
врезавшись в благополучье...

(Вот — мои,
а вот чужие.
Барахло!
Мои — получше!
Позанятней.
Подороже.
Это —
вынем.
Это —
спрячем.)

Мы шагаем по дороге.
У костра от дыма плачем.
Ссоримся.
Мудрим над картой.
Зреем
от случайных знаний.
И несет покорно
каждый
свой
мешок
воспоминаний.
С ним непросто
встать со стула
Тесно —
даже в реактивном...

Мы от этого
сутулы,
будто бы
кариатиды,

ПРОСЬБА

И если кто-нибудь
повелевает сном,—
взбираясь по нагроможденьям слов,
прошу его я
только об одном:
не надо присылать мне
вещих снов!
Пускай они приходят
не ко мне,—
я сновиденьям
верить не хочу.

Но жаль,
что перестал летать
во сне.
Ты небо мне пришли.
А вдруг взлечу!
А вдруг не побоюсь!
А вдруг смогу!..
Еще пришли,
зовя в небытие,
простую,
очень главную строку.
Да так, чтоб я не позабыл ее.

Дожди идут.
На степь наводят лоск.
Бормочет море,
что закат
тяжел...

Не посылай мне снов,
в которых —
ложь.
Есть явь.
Есть жизнь.
Где мы — бывает —
лжем...
Не посылай мне снов,
в которых —
страх.
Есть явь.
Есть озабоченность
штабов.
И есть Земля,
оглохшая от драк,
давно потрескавшаяся от бомб.

Я не хочу
во сне пускаться в путь,—
ведь я и так в пути —
пока живу...
Не надо,
чтобы я
кого-нибудь
спасал во сне.
Пусть лучше — наяву!

Спят реки.
Под корягой дремлет сом.
Растут грибы в молчании лесном...
И если кто-нибудь
повелевает сном,—
пусть просто сон пришлет,
Спокойный сон.

***

Встанет море,
звеня.
Океаны —
за ним.
Зашатает
меня
вместе с шаром земным.
А уснуть захочу,
после долгих погонь
я к тебе
прилечу —
мотыльком
на огонь.
Пусть идут,
как всегда,
посреди мельтешни
очень быстро —
года.
Очень медленно —
дни.

ГОЛОД

Кайсыну Кулиеву

Метелью ошарашен город.
Дома́ —
в сугробах,
будто в мыле...
Я голодаю.
Это —
голод
на то,
что происходит в мире.
Мир
кажется большим и ушлым.
А мне его сенсаций
мало!
И для меня
газета утром —
как героин
для наркомана.
Я голодаю,
голодаю,
барахтаюсь в журнальной снеди.
Спешу.
Внимаю клокотанью
событий
на моей планете.
От войн
до сбора земляники,
от спорта
до проблем жилищных.

Дурманный запах
новой книги
мне слаще
запаха шашлычных.
Не понимаю.
Понимаю.
Приветствую.
И осуждаю.
Смиряюсь.
Голову ломаю.
И голодаю,
голодаю.
То важным занят,
то — мурою.
Дышу.
Найти себя
пытаюсь.
И голодаю.
И порою
пустыми слухами питаюсь.
Вот возмутился,
поперхнулся...

Но если даже в снах
витаю,
мне снится, будто я проснулся
и голодаю,
голодаю.

***

Ярославу Смелякову

Говорите по-советски,—
ах, какой язык!
Вам с рождения известны
языка
азы.
Говорите на просторном,
как движенье
крыл,—
на просторном,
на котором
Ленин
говорил!
И не хвастайтесь усердьем,
жизнь перетерпя.
Вы в язык поверьте сердцем,
как в самих себя!..
Для иного он —
парадный,
не живой,
ничей.
Все равно что иностранный,
лампа
в пять свечей.
Приказали —
задолдонил
(прорастает пень!).
Кое-что для жизни
добыл.

Держится теперь.
И хотя он мечет брызги
с жаром на лице,
откровенно карьеристский
слышу я
акцент...

Но
    из-за такой канальи
и пустых бравад
вы язык не проклинайте,—
он
не виноват!
Говорите,
            потому что
без него
нельзя.
Говорите,
            зло и мудро
дураков разя!
На размашистом рассвете
и в дождях
            косых
говорите по-советски —
правильный язык!

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ

В криках:
«Осанна!» —
в разливах венчального звона
тоже
идет пересадка
сердца живого...
Высятся гордо
зазывные глыбы салата.
Возгласы:
«Горько!..»
А может,
и вправду не сладко.
Смех
испаряется.
Бездарно
такое соседство,
если в семье
не появится
общее сердце...
Ветры вибрируют.
Лес накренился упруго...
Жизнь
оперирует
лучше
любого хирурга.
Это —
болезненно.
Буднично.
Неотвратимо.
Тонкое лезвие
власть над людьми захватило...

Сон
отступает.
Руки твои опустились...
Горечью пахнет.
Разлукою пахнет.
Несовместимость.
Несовместимость.
Взглянув исподлобья
на рану,
суд,
ощетинясь,
разводы дает,
как в награду...
Несовместимость!
Тебя проклинают,
боятся.
Ты превратилась
в судьбу,
в приговор,
в постоянство.
Несовместимость
асфальтовой рани
с тьмой непролазной.
Несовместимость
шалашного рая
с детской коляской.
Несовместимость
пастушьей свирели
с бешеным веком.
Несовместимость
ветки сирени
с атомным ветром...
Мучает,
подстерегает преступно,
грозно,
угарно
несовместимость
гнома-поступка
и слова-гиганта.
...Похолодели.
Прошли стороною.
Взглядом простились.
Несовместимость виною.
Несовместимость.

ПАТРУЛЬ

На боках особняков
дымные подпалины.
Сладко катится листва
вдоль Невы-реки.
Патрулем
идет матрос,
а к рукам припаяны
невозможной тяжести
гири-кулаки...
Ах, какая тьма ветров,
по эпохе веющих!
Ах, какая мешанина
лозунгов и лет!
Патрулем
идет матрос,
осеняя верующих
распрекраснейшим крестом
пулеметных
лент.

У БУКИНИСТА

Парень волнуется:
— Это безумье!
Ты поступаешь
бесстыдно и нагло!
Если бы это была инкунабула,
я бы, конечно, не спорил о сумме.
Все это
издано-переиздано.
Переработано.
Перетасовано...
Что же
в твоем переплете
особого?
Вечные прописи.
Старые истины.

А букинист
очки поправляет.
И,—
покачав головою седою,—
вечную истину
гладит ладонью.
Цену
с улыбкою
набавляет.

***

А. Аграновскому

Над камином стучат
ходики...
Где упали
друзья —
холмики.
Навсегда заросли
травами.
До сих пор их дома
в трауре.

А другие
пошли в физики.
Мне о них разузнать —
фигушки!
Мне у них про дела
выпытать —
все равно
что секрет
выболтать.

А иные нашли
жилочку,
может,
даже и впрямь —
жирную.
Полюбили столы
крупные.

Полюбили слова
круглые...
Им
грешно до меня снизиться.
И застыл телефон
в книжице.
Как рыбешка
в углу невода.
Номер есть,
а звонить —
некуда...

Похудела моя
книжечка.
Там,
где раньше канат,—
ниточка.
Там, где раньше
моря,—
озеро.
А заместо весны —
осени.

УПРАЖНЕНИЕ ПО ФОНЕТИКЕ

«Звуки делятся на...»
Вереница
согласных и гласных...

Какова им цена?
Что подвластно им?
Что неподвластно?
Что понять им дано
в человеческих
предназначеньях?..
Будто в бурю окно,
сам собою
раскрылся учебник.

1

Мы — гласные.
Мы — гласные.
Стоглазые и властные.

Мы —
в вашем первом крике,
На фронте.
И на рынке.
В «Ура!»
и в «Помогите!»
На сцене.
На могиле,
В страдании.
И в злобе.

Мы —
как фундамент в слове.
Приходим, будоража...
Кричите,
если страшно.
Кричите,
если больно.

Мы —
в лихости футбольной.
Когда — удар!
И — мимо.
Когда орут:
«На мы-ы-ы-ыло-о!»

Мы рвемся
из гортани.
И вы нас не глотайте.
Мы не хотим — обратно.

Мы — гласные.
Мы —
правда.

2

А мы — согласные.
А мы
из века энного.
Не так круглы,
не так прямы,—
но что из этого?!
В застолье
говорит ханжа
слова прекрасные.
На землю кровь течет
с ножа,
а мы —
согласные.

В тупые уши
клевета
ползет,
заглазная.

А нам-то что?
А ни черта!
Ведь мы —
согласные.

Не суйся переубеждать,
на дружбу сваливая.
Нам просто
надо оправдать
свое название.
Живем, покорны, как ковер.
Витые.
Разные...
Что?
Нам подписан приговор?!
Пусть.
Мы —
согласные.

3

Дайте слово
звонким!
Пузырись,
елей!
Звонким,
будто сводки
с ледяных полей.
Звонким,
по призванью.
Звонким,
словно медь.
Звонким,
если свадьба.
Звонким,
если смерть.
Звонким,
будто струны.
Звонким,
как мулла...

Дело звонких —
трубы.
И колокола!

4

Говорите громче.
Мы —
глухие.
Вы на инвалидов
глаз не пяльте.
Глухи мы,
как старые графини.
Глухи мы,
как новые распятья.
Вы спокойно
нас произносите.
В сущности,
мы не совсем плохие...
Помощи и денег
не просите.
Мы вас не услышим.
Мы —
глухие.

5

Шипящие.
Шипящие.
Сопящие.
Знобящие...

То — в шоке,
то — в шаманстве.
В ожоге.
И жеманстве.
В жаре.
И мешанине.
В желе.
И мещанине.
В земном
округлом
шаре.
В слепом
змеином
жале,

То — в шепоте.
То — в шелесте.
То — в желуде.
То — в жесте.
То — в жалости
отчасти...

И
(почему-то) —
в счастье.

6

По причинам,
без причин,
для прекрасного,
для злого
мы —
и мысленно —
звучим.
И тогда
приходит слово!
Погибаем,
изменясь,
в гулкой звуковой пучине...

Люди!
Изучите нас.
Так,
как мы вас изучили.

ДАВНЕЕ

А. Киреевой

Я, как блиндаж партизанский,
травою пророс.
Но, оглянувшись,
очень отчетливо вижу:
падают мальчики,
запнувшись за мину,
как за порог,
наткнувшись на очередь,
будто на ленточку финиша.
Падают мальчики,
руки раскинув просторно,
на чернозем,
от безделья и крови
жирный.
Падают мальчики,
на мягких ладонях которых —
такие прекрасные,
такие длинные
линии
жизни.

***

Зря
браслетами не бряца́й.
Я их слышал.
Я не взгляну...
Знаешь,
как языческий царь
объявлял другому
войну?
Говорил он:
«Иду
на Вы!
Лик мой страшен,
а гнев —
глубок.
Одному из нас —
видит бог! —
не сносить в бою головы».
Я не царь.
А на Вы
иду!
Неприкаян и обречен,
на озноб иду.
На беду.
Не раздумывая
ни о чем.
Будет филин ухать в бору.
Будет изморозь по утрам.
Будет зарево не к добру.
Строки рваные
телеграмм.

Встреч оборванных
немота,
ревность
и сигаретный чад.
И заброшенная верста,
где олени в двери стучат.
Будет ветер сухим, как плеть.
Будут набережные пусты.
Я заставлю
камень гореть
и сожгу за собой
мосты.
Высшей мерой меня суди.
Высшей правдой себя суди.
Почтальона, как жизни,
жди.
Почтальона, как смерти,
жди.

Я стою у темной Невы,
у воды
густой и слепой...
Говорю я:
«Иду
на Вы!»
Объявляю тебе
любовь!

РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК

Деревья,
упадите ниц!
Гром непослушный,
поперхнись!..
Родился человек.
Он —
нищ.
Подайте нищему.
Подайте нищему пока
вкус маминого молока
и комнату без сквозняка
подайте нищему.
Вот он глядит из-под ресниц.
На мир глядит из-под ресниц.
Заплакал человек.
Он —
нищ.
Подайте нищему.
Подайте
самый первый шаг.
И колыбельную в ушах.
Про трех забавных медвежат
прочтите нищему.
Пусть он узнает
свет и тьму.
Привыкнем к бегу своему.
Подайте
азбуку ему.
Подайте нищему.

Пусть он
поверит в доброту.
Проверит,
как встречать беду.
Неимоверному труду
учите нищего.
Взрослеет человек.
Он —
нищ.
А вы —
от полюсов
до Ницц —
всю эту землю
без границ
подайте нищему...

Но пусть он сам найдет
любовь.
Не надо
подавать любовь.
Лишь нищим
подают любовь.
А он —
не нищий!

РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ

Звезды высыпали вдруг
необузданной толпой.
Между летом и зимой
запылала осень трепетно.
Между стуком двух сердец,
между мною и тобой
есть —
помимо расстояний —
просто разница во времени.
Я обыкновенно жил.
Я с любовью не играл.
Я писал тебе стихи,
ничего взамен не требуя.
И сейчас пошлю домой
восемнадцать телеграмм.
Ты получишь их не сразу.
Это —
разница во времени.
Я на улицу бегу.
Я вздыхаю тяжело.
Но, и самого себя
переполнив завереньями,
как мне закричать
«люблю»?
Вдруг твое «люблю»
прошло?
Потому, что существует
эта разница во времени.

Солнце встало на пути.
Ветры встали на пути.
Напугать меня хотят
высотою горы-вредины.
Не смотри на телефон.
И немного подожди.
Я приду,
перешагнув
через разницу во времени.

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Среди ракет яростных
гора с горой
сходится.
А конь
в таких яблоках,
что их
куснуть хочется.
Дворец глядит
прянично,
идет война
жаркая.
А вот разгар
праздника.
А вот хоккей
с шайбою.
Ушла в закат рощица,
на ветках птиц —
батюшки!
Во весь листок —
рожица,
торчком стоят бантики.
Река бежит прыткая,
от солнца —
вся —
желтая.
В речушку я прыгаю
и поперек —
сажёнками!

НЕОРЕАЛИЗМ

Помолчи,
проза.
Покрасней,
драма.
Стало все просто.
Стало все странно.
Стало все явью.
Вопреки веку,
ночь была
ямой,—
только вся
сверху.
Ночь была круглой.

Я бы мог тут же
чуть поднять
руку
и убрать тучу.
Мог ногой топнуть
и зажечь солнце...
Но меня
дома
ждет
Лорен Софа.
Ждет,
глядит в небо
и не засыпает.
Это все
нео-
реализмом
пахнет.

В нем —
белей экрана —
шелестит простынь.
Это все странно.
Это все просто.

Я шагал прямо
меж кустов
тощих...
Только вдруг грянул
небольшой дождик.
Ноги с крыш
свесил,
простучал тихо.
А за ним —
ветер,
будто вздох тигра.
Дождь прошел мигом,
жаркий лоб
тронул...
Посреди
мира
человек вздрогнул.
Стала ночь
плоской,
превратясь в площадь.
Было все просто...

Но еще
проще
люди спать ложились.
Людям сны
снились.
И Лорен Софа
не по мне
сохла.

***

О, поэтические дела!
Ни между строчек.
Ни напрямик...

Бумага стерпит.
Она — бела.
Читатель
тоже вполне привык.
И можно —
воду сквозь решето.
И можно киснуть
в своем углу.
Писать
про это.
Молчать
про то.
Играть
в рифмованную игру.
А можно сделать
наоборот:
так куролесить
и так дурить,
что даже критик
откроет рот
и позабудет
его закрыть.

Иным
такая должность дана...

Но как мне честным
быть до конца?
Войти без стука
в ваши дома.
Войти без штучек
в ваши сердца.

ТРЫН-ТРАВА

Где растешь,
трын-трава?
Где?
В какой стороне?..
Там,
где злые слова
тонут
в хлебном вине.

Где растешь,
трын-трава?
Возле самой беды.
Будто возле воды,
наклонившись едва.

Раззвонила молва:
или дождь,
или снег.
Повод
есть или нет,
наливай,—
трын-трава!

Как темно в голове!
Ты
себя потерял.

Зря ты верил траве,
трын-траве
доверял.
Я друзей позову,
чаем их разозлю.

Я скошу
трын-траву
и корове
скормлю.

***

Ромашки
глядят напыщенно,
в росистой пыли обочина...
Природа —
она обидчива.
Природа —
она отходчива.

Дорога ныряет в заросли,
сейчас она мне —
как милостыня.
Найди меня здесь,
пожалуйста.
Поссоримся.
И помиримся.

Помиримся
по обычаю,
когда нам двоим захочется.
Природа,
как ты,—
обидчива.
Природа,
как ты,—
отходчива.
Помиримся.
И поссоримся.
И снова ты не уснешь.

Мы сложим
наши бессонницы
в сплошную белую ночь...

Стою над речушкой-дурочкой,
кружащей,
как во хмелю.
И, вытянув губы дудочкой,
тебе говорю:
люблю!

МЕЛОЧЬ

Осень выдалась
шикарная.
Захмелевший от ходьбы,
в незнакомый лес шагаю я
по стихи,
как по грибы.
Я дышу настырным воздухом.
Две строки уже нашел.

И собака
машет хвостиком,
как заправский дирижер.

ДОН-КИХОТ

Знаю, что пример —
ветх
с головы и до
пят.
Знаю, что не тот
век,—
рыцари
в земле спят.
Спят,
не увидев благ,
спят,
не усмирив боль.
А у мельниц —
гос-
план.
(Некогда
вступать в бой.)
Сдан в утиль
ржавье-меч,
треснуло копье
вдоль.
Росинант
узнал смерть...
Дон-Кихот!
Дон-дон!..
Шелест
заводских шин
мифы заглушил вмиг.
Надобно
ценить жизнь!

Надобно
понять мир!
Солнце
нас не зря жгло,
но опять рассвет
сер.
Если на земле
зло,
рыцари
нужны всем!
Колокол
набрал ход,
медно зазвенел
дом:
Дон-Кихот!
Дон-Кихот!
Дон!
Дон!
Дон!
Дон!

ПОЭТЫ

М. Луконину

«Поэтам — что?
Они —
в хрустальных башнях.
Они на мир взирают свысока.
Они нигде не числятся
в «опасных».
Им только вечность звездная близка».

И человек,
наслушавшись про это,
все сравнивая
с собственной судьбой,
встречает неожиданно поэта
и говорит:
«Давай, приятель, пой!..
Чего молчишь?
Приятно и спокойно
по клавишам души
пройдись едва.
И выдумай
про что-нибудь такое
красивые-красивые слова...
Начни, дружок!..»

А солнце
в море тонет.
Тревожны и темны
глаза земли.

И колются слова.
И на ладонях
от этих слов
вспухают волдыри.
Тугой закат
на горизонте медлит.
С тяжелым звоном
колосится хлеб.
И люди над газетами немеют,
раздумья
кулаками подперев.
Рокочет эхо отдаленных гулов.
Слепые ливни по асфальту бьют.
И вырастают мальчики из курток.
И трудные вопросы
задают.
Но если б только это!
Если б только!..

«Начни, дружок.
Давай, приятель!
Пой!..»

И все ж таки
за этот мир жестокий
нам отвечать!
Нам говорить
с тобой!..
И страшно жить на свете.
И не страшно...
Звезда зажглась
в немыслимой дали.

Поэтам — что!
Поэты
жили раньше.
Мы не поэты.
Мы —
поводыри.

ЦИРК

Александру Аронову

1

Давно перейдя рубеж
ньютоновского:
«Нашел!..»,
колышется
зыбкий перш,—
как здравый смысл,
обнажен.
Мелькает в прожекторах
девчоночка —
слабый пол.
Улыбка скрывает
страх.
А блестки скрывают
пот.
Работа на высоте.
Искусство без дураков.
В торжественной суете.
В неровной дрожи хлопков...
Ворона шьет по канве.
А люди едят огонь.
И ходят на голове.
И пишут
левой ногой.
А лошадь танцует вальс.
Садится слон на диван.

А клоун
глупее вас.
И это приятно
вам.
Лисицу пасет петух.
И —
перекрывая гул,—
как бубен,
звенит батут.
Как мячик,
летит прыгун.

Усталые мудрецы,
простите
наивный век.
Почаще
ходите в цирк.
Покруче
глядите вверх.

2

Счастья хотите?
Желаете помолодеть?
Блюдо манежа начищено —
больно глядеть.
Будто сегодня ревизию ждали с утра...
Что приготовили?
Чем удивят повара?..
Чувствуя важность момента,—
суров и сварлив,—
лорд-дирижер
замахнулся на братьев своих.
И в вышине
над крутым поворотом голов
затрепетал,
засверкал,
раскатился галоп.
Мимо пронесся,
веселым дождем окропил.
Сядьте удобнее:
так
начинается пир!..

Пусть остается в душе,
вспоминается пусть
пряничный привкус восторга,
счастливая грусть.
Лампы погасли.
Надел гардеробщик пальто.
Мягкими крыльями
тихо взмахнул шапито.
И улетает.
И просит его не забыть...

Цирк не любить —
все равно что детей не любить.

***

Чего бы это
значило? —
В пронзительных годах
живу все время
начерно.
И, видимо, не так.
Замахи
и дерзания.
В огонь
и из огня.
Урок чистописания —
увы! —
не для меня...
Что кончено,
что начато —
растаяло в ночи.
Все начерно,
все начерно,—
хоть «караул!» кричи.
Зря
огород городится!
Гордиться не с руки:
вновь на огне
корежатся
года-черновики.
То лучшие,
то худшие,
протяжные,
как стон.

И дерево плакучее
склонилось над листом.
Сгорает,
осыпается,
трепещет на ветру.
Ехидно улыбается...

А если я умру,
оркестрик
перво-наперво
задребезжит взамен...

Мне так хотелось —
набело!
Не вышло.
Не сумел.

***

Плюньте на изящный ореол,
даденный певцу во время оно.
Жалко мне поэта,
если он
занят
подновленьем ореола...
Пусть он лучше в доме
сор метет.
Спорит о классических газеллах.
В булочную ходит.
Снега ждет.
Застывает
у витрин газетных.
Пусть он режет хлеб.
Кричит во сне.
Морщится
от строчки неудачной.
Мчится по делам.
Звонит жене.
С дочерью колдует над задачкой.
Покупает яблоки ранет.
Разминает в пальцах сигарету...
Ничего таинственного
нет
в жизни
настоящего поэта...
Вот он на огонь глядит в упор.
Вот он разговаривает с кем-то.
Вот с друзьями едет на футбол...
И не носит
нимба.
Носит кепку.

В ДЕНЬ ПОЭЗИИ

«Нишкни,
эстрада!
Будь проклята,
эстрада!
Изыди!
Провались в тартарары!..»
Тебя поносят
широко и страстно,
тебя опять выводят из игры.
Но им назло,
почти не удивляясь,
плывет по залам
«стихотворный чад».
«Дешевая»
клокочет
популярность,
«дешевые»
овации звучат.
Витийствует —
просите не просите —
«эстрадно-поэтическая моль»...
— Но кто же в залах?
— Там?!
Наверно, психи.
— Какая туча психов!
Боги ты мой! —
...Товарищ «псих»!
Огромное спасибо
за эту вдумчивую тишину.

В поэзию кидается
Россия.
Как ливень —
в лето!
Как апрель —
в весну!
И наплевать
на чей-то визг нелепый
и нудное дрожанье шепотка:
«Вы пишете
все время на потребу...
а надо поскромней...
и —
на века...»
Века
веками.
Поживем —
обсудим...
Но продолжайся,
ежедневный бунт!
Партийная,
по самой высшей сути,
поэзия,
не покидай
трибун!
Не покидай!
Твой океан безбрежен,
Есть где гудеть
разбуженным басам,
Пусть в сотый раз
арбузом перезревшим
раскалывается
потрясенный
зал!
По праву сердца
будь за все в ответе,
о самом главном на земле крича,
Чтоб ветер Революции
и ветви
ее знамен
касался
плеча.

ГОРОДОК

Дышит посреди июля
суховей темно и зло...
Города живут,
как люди:
повезло —
не повезло.
Либо всем известны,
либо —
за кюветом,
в стороне...

Город
мелкого калибра
повстречался как-то мне.
В нем приезжий —
будто голый,
вызывает интерес...
Городок малооконный,
как в такую глушь залез?
Чтоб он был с эпохой вровень,
чтоб искусство постигал,
здесь два раза
на гастролях
побывал
ансамбль цыган.
Городишко невеликий
жил,
за временем тащась...
Фотография на рынке
называлась честно:
«Щщас».

Но отсюда,
между делом,
с деревянного крыльца
вышли
знаменитый тенор,
генерал
и три пловца.
Здесь невесты — на учете,
на учете — женихи...

Город
думает о чем-то
и не просится
в стихи.

***

Б. Окуджаве

По предсказанью радио —
шел град
калибра крупного.
Стуча,
катились градины
с горы
на площадь Трубную.
С невероятным грохотом —
упруги
и легки —
рассыпанным горохом
неслись
вперегонки.
То прямо прыгая,
то вкось,—
под тучами нависшими,—
неслись —
размером с абрикос.
(Не с абрикос,
так с вишню.)
И сразу
день похолодал...
Об осени сигналя,
сейчас идет по городам

не град,
а посевная...
Из этих градин скоро
взойдут
наверняка
печально и роскошно
белые
снега.

В ТИРЕ

В районном тире —
типы.
Тип на типе.

Окно звенит от баса,—
приходит
рыжий Боря:
— А ну-ка, дай,
папаша,
центрального боя!
— Пожалуйста!
Пожалста!..
Стреляйте
на здоровьице.

Интеллигент ушастый
как на трамвай
торопится.
Он поливает,
шельма,
навскидочку,
с руки.
Рыдают сквозь мишени
личные враги.
— Получи сполна.
Вот тебе!
На!!

Серьезная красавица
загадывает сдуру,

прицеливаясь
в зайца,
попасть в аспирантуру.
Улыбка на губах.
Бах!
Бах!!

Детина
с видом мученика
объясняет кротко:
— Пальну —
сыграет музыка.
Пальну —
не станет кролика.—
А вокруг
неистово:
— Ишь ты!
Ишь ты!!

Над шуточками пыльными,
над непонятной злостью
качнулись —
вверх копытами —
жестяные лоси.
Дрожит медведь на ветке
возле попугая.

Мишени
безответны.
Их должность
такая.

ИМЕНИНЫ

Было весело.
Было пьяно.
Было душно,
как в парнике...
Шестьдесят свечей
засияло
на торжественном пироге.
Длилось время.
Сменялись тосты,
и приканчивалась
икра...

Багровея,
бухгалтер толстый
постоянно кричал:
«Ура!..»
Постаревшая примадонна,
плотно севшая на кровать,
повторяла
хозяйке дома:
«Дура!
Годы надо
скрывать».
Лысый дядя
хвалил жаркое
и, задрав подбородок вверх,
лепетал
чего-то такое
про коротенький
бабий век...

А хозяйка,
вникая в речи,
не сердилась,
не горевала.
Наклонившись,
тушила свечи,
будто каждую
целовала.

НА РОДИНЕ МАЯКОВСКОГО

Нас было семеро,
считая жен и переводчицу.
С селом Багдади,—
все до единого,—
знакомы косвенно,
мы не доверились
уговариванью паровозному.
Мы просто взяли две машины и —
к Маяковскому!..
У ног в кувшинах вино плескалось.
Мы хлеб делили.
А нам навстречу летели горы —
и мощь,
и немощь...
В конце дороги
в невероятно земной долине
произрастало село Багдади,
на солнце нежась.
Произрастали дома
спокойно и неустанно,
и абрикосы,
произрастая,
плоды роняли.
Взрослели стены.
И даже речка произрастала,
в песок зернистый,
как будто в вечность,
уйдя корнями.
Мы вырастали за нею следом
из дрязг и туфель,

из пиджаков и вчерашних ритмов,
вчерашних споров.
Все рифмовалось,
звучало,
пелось,
и был доступен
хозяин дома,—
как сон
спокойный,
сухой, как порох.
Был дом наполнен
его шагами,
баском недавним.
Бас повторялся,
немые вещи тонули в отзвуках.
И улыбался легко-легко
австралиец Даттон.
И Евтушенко
пыхтел, наморщась,
над книгой отзывов.
...Потом обратно зашелестела,
крутясь,
дорога.
И солнце
то убегало в горы,
то вновь показывалось.

А мы молчали.
А мы смотрели, как осторожно
шагает туча,
на хилых ножках дождя
покачиваясь.

УБИЛИ ПАРНЯ

Убили парня
за здорово живешь.
За просто так.
Спокойно.
Как в игре...
И было это
не за тыщу верст
от города.
А рядом.
Во дворе.
Еще пылали окна...
Между тем
он так кричал,
прижав ладонь к груди,
как будто накричаться захотел
за долгое молчанье впереди...
Крик
жил отдельно!
Вырастал стеной.
Карабкался,
обрушивался с крыш.
Растерзанный,
отчаянный,
больной,
нечеловечески огромный
крик!
Он тек по трубам,
полз по этажам,
подвалы заполнял и чердаки.
Он ошалело тыкался в звонки.

Ломился в двери
и в замках визжал!..
И воздух был почти воспламенен.
И сигаретки
прыгали у рта:
«Вот если бы не вечером,
а днем...»
«Вот если бы на фронте,—
я б тогда...»
И все.
И только молний пересверк.
И все.
И не остановился
век...

Какое это чудо —
человек!
Какая
это
мерзость —
человек!

***

Притворись
большим и щедрым,
полыхающим в ночи.
Будто ливень по ущельям,
по журналам грохочи.
Притворись родным,
родимым,
долгожданным,
как капель.
Притворись необходимым!
Притворился?..

А теперь
открывай окно пошире.
Отряхнись от шелухи.
Надо
собственною жизнью
доказать
свои стихи.

ПОЕЗД

Этот поезд,
огромный и странный,—
закатал меня.
Закатал.
Он проходит
по землям и странам,
по минутам,
часам
и годам.
Он идет сквозь жару и прохладу.
В нем —
пижоны,
пижамы,
халаты,
молоко
и бутылки вина...
Ночь за окнами,
будто стена...
А в купейном —
от хохота тесно!
Молодится
строительный туз.
И смеется вовсю
поэтесса —
инженю
человеческих душ.
Так смеется она,
будто платит
за вино,
за веселье свое.

Будто сразу за смехом
, заплачет,
и никто не утешит ее.

...Проводник
на Габена походит.
Пассажиры на станциях сходят.
Попросив для отчета
билет,—
сходят так,
будто сходят
на нет.

***

В дорогу хочет
бабушка.
Все узелочки собраны.
Обрывки
тюля-бархата
по уголкам рассованы.
Живет не здесь,
а в тереме
с крыльцом,
с железной крышею.
На братьев злится:
где они? —
да ищет кошку рыжую.
Ждет кума
из Саратова,
не любит
песни шумные.
Кагора просит сладкого
и кофточку ажурную.
Не верит —
«скорой помощи»,
чай кипятит в половнике.
И у нее
до полночи —
поклонники,
поклонники...
Нелепа,
несговорчива,
глаза слезятся матово...
«Наймите мне извозчика,
уеду
к папе с мамою...»

ПОДАРОК

Закрутился на работе,—
мне с подарком не успеть!..
Я себя
пошлю по почте
на Кутузовский проспект.
Нарисую адрес
тушью,
вид солидный
сохраню.
Размечтавшуюся душу
ненамного оценю.
На меня
наклеют марки,—
кончится авторитет.
В целлофановой бумаге
буду я всю ночь
хрустеть.
Грузовик вздохнет, умаясь...

Торопясь, как на пожар,
почтальон проверит адрес,
крикнет:
«Сидорыч,
сгружай!..»
И начнет меня ворочать,
над посылкой колдовать.
Проведет ногтем по строчке:
«Человек. Не кантовать».
Почта
к сроку запоздала,

но пришла наверняка.
«Распишитесь.
Вам
    подарок.
Так что с праздничком.
Пока».

Ты в такое
        не поверишь.
Соберется вся родня...
Почтальон
        звонит у двери:
возвращает мне
меня.

ПИСЬМО МОСКОВСКОМУ СНЕГУ

От тебя я неблизко.
За далями.
За морями.
Влажно дышит залив.
Чайки
душное лето пророчат...
Ты пришли мне сюда
белый лист подмосковной поляны
и на нем напиши
птичьей вязью
хоть несколько строчек...
Ты сейчас в двух шагах,
в двух вершках,
в сантиметре от дома.
Напиши о метелях,
о ветре,
буранах и бурях.
И спокойно лежи.
Так спокойно —
как будто надолго.
Будто бы навсегда.
И весны в этом веке
не будет...
Снег,
дружище,
товарищ.
Надежда моя
и обуза.
Ты не хочешь мне зла.
Ты меня предавать не захочешь...

Спелый снег.
Ты хрустишь на зубах,
будто мякоть арбуза.
И уходишь сквозь пальцы.
Уходишь.
Уходишь.
Уходишь...
Как смешно и бездарно,
что людям тобою грозили!
Я тяну к тебе руки,
но это пока бесполезно...

Снег,
снежище,
снежатина.
Белое чудо
России.
Не забудь обо мне.
Не забудь.
Похрусти до приезда.

КОРРИДА В ЛИМЕ

А бык играл с людьми
в расцвеченном овале.
Один из тех
восьми,
которых убивали...
О, как прекрасна кровь,
когда она —
чужая!..
Занятною игрой
орущих
потешая,
бык
злиться не хотел.
А публика дурела!
И бедрами вертел
проворненький тореро.
На пальчики вставал.
Силен.
Самоуверен.
Бык
недоумевал.
Но притворялся зверем.
Не сладко
попадать
в такую передрягу.
Зачем
ему бодать
замызганную тряпку?!
Чуть-чуть левей бы:
«На!

На!» —
если хочешь крови...
Но у того —
жена.
А может, даже
кроме —
мальчишка.
Карапуз.
Рыданьями
разбудят...
И бык решился:
пусть!
Все будет так,
как будет.
Сопящая гора.
Накатится —
раздавит.
Он знал:
идет игра.
Подразнят —
и отстанут.
Поэтому —
щадил.
Играл с людьми
в охотку.
Не сразу ощутил
клинок,
вошедший в холку.
И на песок осел.
В малиновую тьму.
И прогудел
совсем
по-деревенски:
«Му-у-у...»
Он умирал,
пока
хлестала кровь из раны
на впалые бока...

Убили...
Рады?

***

Да осенит вас
Южный Крест,
названия —
почти как музыка.
Хибарки посредине мусора,
да осенит вас
Южный Крест...
Стада,
уставшие пастись.
Голодно-царственные
гаучо.
И птицы —
крохотнее бабочек.
И бабочки —
с размахом птиц.

Да осенит вас
Южный Крест,
ветра,
пропахшие корридами.
Леса
с небритыми герильями,
да осенит вас
Южный Крест...
Крадущиеся по горам
закаты
жирные, кровавые.
И суматохи
карнавальные.

И стадион
как будто храм.

Да осенит вас
Южный Крест,
неумирающие деспоты.
И узники
с глазами детскими,
да осенит вас
Южный Крест...
Хруст
океанского песка.
Вожди,
которые неправедны.
И говорливые
парламенты.
И молчаливые
войска.

Да осенит вас
Южный Крест,
народы,
будто праздник, добрые.
Нашедшие слова,
которые
покорности —
наперерез!

ПИСЬМО ИЗ ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЯ

Как вы там
ходите вниз головой?
Все объясняется просто.
Научно.
Правильно.
Ясно как день...
Но неужто
вы не теряетесь
на мостовой?..

Чайник вскипает
носиком книзу.
Едут машины
колесами вверх.
Кот
невесомо идет по карнизу.
Искры
летят из-под сомкнутых век.
Люди сидят
в перевернутых креслах.
Поезд,
разбухший от запаха дынь,
странно повиснув
на тоненьких рельсах,
мчит,
опираясь на собственный дым.
Люстра торчит,
как хрустальная елка.
Важный начальник
на темя встает.

Будто он близкий родственник
йога,
ежели сам —
почему-то —
не йог.
Врач вытрезвителя
пьет беспробудно.
Плачет.
Боится упасть
на Луну.
Лектор занудный
вцепился в трибуну.
Жулик —
в решетку.
Ревнивец —
в жену.
Самоубийством
кончает посуда.
Синяя мгла
за чертой снеговой.

Жаль,
не могу я увидеть
отсюда:
как вы там ходите
вниз головой.

БАЛЛАДА О ТОМ, КАК ИНКИ НАЧАЛИ ПОКЛОНЯТЬСЯ СОЛНЦУ

Солнцу молюсь,
солнцу молюсь,
солнцу!
Свету его,
силе его,
зóву,
звону луча,
яблока алому боку,
солнцу молюсь —
непобедимому богу!
Солнце в стебле
и в желтизне слитков.

Много богов было у нас —
инков.
Смертных страша
грозным своим видом,
в каждом углу
мрачно стоял идол...
Восемь недель
засуха жгла Куско.
Даже луна
стала светить тускло...
Жрец подошел,
был, как судьба, грозен:
— Дочку твою
боги к себе
просят.—
Взял он ее.

Крикнул:
— Молись,
ибо
слезы смешны,
если ты дочь инка! —
Трижды умыл,
трижды провел
лесом.
После
ножом
левый сосок срезал.
Сердце достал
и показал людям...
Я задрожал,
я застонал
лунем!
Слышал одно,
зная ее
муки,—
как над жрецом
жирно жужжат
мухи.
Чудилось мне:
просят еще
крови
боги дождя,
света,
зерна,
крова...
И, находясь
на берегу смерти,
я повелел
всех их собрать
вместе.

Солнце с утра
в бубен земли било.
Страшно глядеть
мне на богов было,
На истуканов
темных, как мгла,
хмурых,
каменных,
злых,

сытых,
больших,
мудрых.
Только терпеть
не было сил больше...
Я им сказал:
— Слушайте, вы,
боги!
Восемь недель
нету дождей в Куско.
Склады пусты.
И на полях пусто.
В Пуно давно дождь не идет.
В Ике.
Разве не все
отдали вам инки?!
Послано вам двести рабов.
Самых!
Вышла за вас
дочка моя
замуж.
Где же дожди?
Где же громов
гулы?..
Кровью живой
мазали вам
губы.
Можете есть.
Можете пить
знатно...
Как же узнать,
что вам еще надо?
Сына отдам,
славу отдам —
нате!..
Только одно,
боги мои,
знайте:
если с небес
не упадут
капли,
я вас тогда
приговорю
к казни!

Так говорил им я.
Человек.
Инка.
А по богам
будто неслась
искра.
Боги огня,
боги дождя,
грома,
боги воды,
света,
зерна,
крова,
боги добра,
боги болот —
жабы,
рты распахнув,
прямо в лицо
ржали!

Вынул я меч.
И показал
рубку!
Я их рубил так,
что сорвал руку!
Я их рубил —
темных, как мгла,
хмурых.
Я их рубил —
каменных,
злых,
мудрых.
Я затупил девять мечей.
Девять!
Это я знал.
Это умел делать.
Мне широко,
весело мне
было!..
Солнце
в тугой бубен земли било.
Я закричал:
— Дай твоего
сока!..

Нету
богов!
Есть только ты —
солнце!..
Я неспроста
бога в тебе чую.

Видели все:
произошло чудо.
Без облаков,
с долгой жарой
споря,
дождь танцевал
в пыльном, как смерть,
поле.
Царствовал дождь!
Перебирал листья.
Бился,
гудел,
перебивал,
лился!
Спину мою
пронзали его иглы.

Солнцу с тех пор
молимся мы —
инки.

МОЛИТВЫ ИНКА

ВСТРЕЧАЮЩАЯ СОЛНЦЕ

Пыль звездную
рассвет клюет по зернышку...
Не прячь лицо!
Его земле
яви!
Взойди на пышный трон
и здравствуй,
солнышко!
Своих детей
на жизнь благослови.
Расплавься,
растворись
в медовом воздухе.
Заставь сверкать
разболтанный ручей.
И всюду разбросай
густые ворохи
соломенных,
пронзительных лучей...
Молюсь и верю
ласковому пламени.
Стою над мокрой
жертвенной плитой.
Хочу,
чтоб мы в тебе,
как рыбы,
плавали,
чтоб стала вдруг прозрачною
ладонь.

Хочу,
чтоб ты вошло в сады напевные,
чтоб ты смолой застыло на коре,
чтоб ты толкалось —
доброе и спелое —
в оранжевой
шершавой кожуре...
Сияй,
светило!
На колени падаю,
кладу на камень серебро монист.
Пусть осенью
над сизой Урубамбою,
затвердевая,
шелестит маис.
Пусть
псы сторожевые перетявкиваются
и нюхают густую синеву.
Пускай мурлычет пума
и потягивается.
И рвет когтями
мятную траву.
Пусть я найду
все,
что в ночи потеряно,
внимая тихим голосам судьбы.
Пускай в лесных чащобах,
в пряной темени
стоят крутые
светлые столбы.
Пускай они сияют,
снизошедшие.
Пускай их стороной обходит зверь.
Пускай к ним прикоснутся
наши женщины
и нам к весне
подарят сыновей...
Грянь,
солнце,
грянь!
К тебе вершины ластятся.
Сейчас туманы обратятся в прах...
Смотри:

уже крестьяне
в пояс кланяются
на хлопковых
и рисовых полях...
Взойди на трон,
зерно благоуханное!..
В слезах мои ладони
и в крови...
Я — инка.
Я — твой раб.
Твое дыхание.
Клянусь тебе.
Молюсь тебе.
Живи!

ПРОВОЖАЮЩАЯ СОЛНЦЕ

Я понимаю прекрасно,
что день
тебя утомил...
Как мало у ночи красок!
Видишь:
чернеет мир.
Подули
черные ветры.
Зреет в траве роса.
Сухие
черные ветки
целятся мне в глаза.
Спеют
черные бунты
в самом забитом рабе.
Черное тело
пумы
скользит по черной тропе.

Пожалуйста, возвращайся!..

Звезды
мигают
нервно,
и каждая —
как укор.

На фоне
черного неба —
черные гребни гор.
Черные птицы
откаркались.
Земля —
черна и пуста.
В бездонной реке,
накапливаясь,
ворочается
чернота.
Вода,
как чума,
бессовестна.
Она накрыла меня...
Ночь,
наверное,
создана
для ожидания дня...

Пожалуйста, возвращайся!..

Молчанье живет для криков.
Для бури создан покой.
Змея рождена для крыльев.
Для холодов —
огонь...
Тяжесть
ночного ига
люди по сну
волокут.
По черным морщинам
инка
бесцветные слезы
текут.
Не зря умирают
ночью,
мучаясь и хрипя...
Я полон
завтрашней новью.
Я очень верю в тебя!

Пожалуйста, возвращайся!..

СУВЕНИРЫ

Сувениры
вырезают
из обычных чурбачков.
И фигурки
вылезают,
отряхаясь от оков.
Их по мокрой гальке
тащат,
топят в море,
как котят.
Трут бумагою наждачной,
продолжительно коптят.
Держат над горящим дегтем,
Краску из кувшина льют.
Появившимся подтекам
вид наивный
придают.
Перетряхивают,
вертят.
Ад кромешный.
Чад сплошной...
Вот уж от фигурок
веет
неподдельной
стариной.
Вот они застыли
важно.
Переполнили лотки.
Вот на мир
подслеповато

смотрят ветхие божки...
Покупатель
в полном трансе.
Денег
нечего жалеть!..

Ах, когда-то я старался
поскорее
повзрослеть!
Без пальто ходил весною
на вечернее кино.
С малолетнею шпаною
пил серьезное вино.

...Не копти меня,
столетье.
Снег,
не липни
к волосам.
Час придет.
Я постарею.
Сам.

***

Нам сказали:
«Зря чураетесь
оказии любой.
Через гребень
переправитесь,
а там —
само собой...»
Но дорога,
вниз
несущаяся,
изгибалась неспроста,
как танцовщица,
танцующая
танец живота.
Мы —
танцоры неискусные,
озимых зеленей,
перекатываясь
в кузове,
танцевали вместе с ней.
То припадочно,
то медленно,
смешно и не смешно...
А потом мы пили
местное
крестьянское вино.
И смотрели вверх растерянно:
оттуда
по росе,
будто гибкое растение,

струилося шоссе.
Возле нас оно
заканчивалось,
как нитка от клубка.
А на гору
облокачивались
большие облака.
Шли —
промытые и выхоленные,
заменяли потолок.
Будто в самом деле
вытканные
из этаких
дорог.

***

Мир,
состоящий из зла и счастья,
из родильных домов
и кладбищ...

Ему я
каждое утро кланяюсь,
вчерашнюю грязь
с ботинок счищая.
То
как задачник для третьего класса.
То
как чертеж грядущих домин,—
терпкий,
невежливый,
громогласный,—
он навсегда мне знаком —
этот мир.
В нем
на окраинных улочках пусто.
В очередях —
разговоры нелегкие.
В нем у лотков
выбирают арбузы,
их, как детей,
ладонью пошлепывая.
Мир мне привычен, как слово
«здравствуйте!»,
И ожидаем, как новоселье...

Я выхожу
и себя разбрасываю,
раскидываю,
рассеиваю.
Весь выворачиваюсь,
как карманы,
чтоб завтра
сначала все повторить.

Мира мне
так бесконечно мало,
что лучше об этом
не говорить!

ВЕЩИ

М. Тарасову

Я снова дома,
дома.
Вот так и надо
жить.
Мне хорошо.
Удобно.
И незачем спешить.
И можно вещи гладить.
Ценить.
Переставлять.
С вещами можно
ладить.
Их можно прославлять.
Отдать им,
что имеешь,
почти сойдя с ума...
Но вот
проходит месяц,
и в доме —
кутерьма.
Как изменились вещи!
(Не веришь —
сам взгляни!)
Вот я все меньше,
мельче.
Вот все крупней
они.

Огромны,
непокорны,
страшны, как никогда,—
они подходят к горлу,
как полая вода.
Как будто под парами
в усилье
непростом
топорщится углами
обыкновенный стол.
Растет и задевает,
молчание храня,
как будто
выживает
из комнаты
меня.
Пройти к столу мешает
гигантская кровать!..

Я снова
уезжаю
по дому
тосковать.

***

Зловещи и просты
ожоги на судьбе.
В ком
был уверен
ты?
— В себе...

Гармошка и хорал.
Преступник и судья.
Кого ты
презирал?
— Себя...

И плакал,
и дурил,
от курева хрипя.
Кого
благодарил?
— Себя...

В крутящемся дыму
на узенькой тропе
не доверял
кому?
— Себе...

Горящему —
гореть.
Работа —
как запой.
Кем
хочешь умереть?
— Собой!

ПОЭМА О РАЗНЫХ ТОЧКАХ ЗРЕНИЯ

СОН

Я по улице иду —
удручен.
В магазинах
нет вопроса:
«Почем?»
На вокзалах
нет вопроса:
«Куда
по планете разбрелись поезда?..»
Этот сон
приснился в пятницу мне
(может, он —
к деньгам,
а может —
к войне).
Я попал на заседание вдруг
Академии
Серьезных
Наук.

Академики —
дотошный народ
(сорок лысин,
восемнадцать бород) —
при параде,
при бо́льших орденах
обсуждают
вопросительный знак.

Рассуждают о загадках его.
Говорят, что он немножко
того...
Не умеет
эпохально звенеть.
Заставляет временами
краснеть.
Не зовет,
не помогает в борьбе...
«Задается» —
значит, мнит о себе.
Если даже и ведет
иногда,
то заводит
неизвестно куда...
Решено:
недопустим компромисс!
Решено, что этот знак —
пессимист.
И записано,
что он отменен,
так как
«нет уже потребности
в нем».

«Восклицательным знакам —
почет!!»
(Вопросительные —
взять на учет.
Разрешить для них
журчание вслух
при наличии
особых
заслуг.)
Телефон «09»
вправе молчать.
(Если нет вопросов —
что отвечать?)
Нет вопросов,
и не слышно гудка...
«Мосгорсправка»
растерялась слегка.
Но потом она опомнилась и
заклеймила

заблужденья свои...
Только сложности возникли опять:
«Как
с вопросами детей
поступать?»
Просит ректор МГУ разъяснить:
«Что с экзаменами?
Чем заменить?..»

Все супруги
соблюдают престиж.
Ведь не спросишь:
«Почему ты грустишь?»
И не скажешь:
«Ты сегодня бледна.
Что с тобою?
Может, помощь нужна?..»
Нет возможности
задачник добыть...
Не вздыхает Гамлет:
«Быть
иль не быть?..»
Нет задумавшихся.
Быт упрощен.
В магазинах нет вопроса:
«Почем?»
На вокзалах нет вопроса:
«Куда
непонятные ушли поезда?..»
Нет кроссвордов.
КВН не бурлит.
И не спрашивает врач:
«Что болит?..»
Лишь в кошмарных
появляется снах
отмененный
вопросительный знак.

А природе
не впервой отставать.
А природе на запреты
плевать!
Вопросительно
глядит сова.

Вопросительно
шуршит трава.
Вопросительна пчела в цветах.
Вопросительны краны в портах.
Вопросительно закручен
ус.
Вопросительно свернулся
уж...
Если даже у змеи
вопрос,
что же делать тем, кто —
в полный
рост?!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

Ну, ладно,—
мы
рождаемся.
Переживаем.
Старимся.
Увидимся —
расстанемся...
Зачем?

Грядущие
и прошлые.
Громадины.
Горошины.
Плохие
и хорошие.
Зачем?

Для дела
и для понта.
Запои и работа.
Крестины и аборты.
Зачем?

В дакронах и сатинах.
В рабах и господинах.
В театрах и сортирах.
Зачем?

Приказы и баллады.
Дебилы и таланты.
Пигмеи и Атланты.
Зачем?

Подонки и матроны.
На ринге
и на троне.
На вахте
и на стреме.
Зачем?

Над щами.
Над миногами.
С авоськами.
С моноклями.
Счастливые.
Минорные.
Зачем?

Трибунные гориллы,
базары
и корриды,
горланите?
Горите?
Зачем?

Случайно
иль нарочно?
Для дяди?
Для народа?
Для продолженья
рода?
Зачем?

ЭКСКУРС

Скорбел летописец:
«Славяне,
запутавшись намертво
в ссорах и дрязгах,
пришли до варягов...

Сказали:
— Земля наша
сильно лесами обширна,
ручьями обильна,
и только обидно,
что нет в ней порядка,
и люди устали бессмысленно мучиться
жить не по правде.

Придите
и правьте! —
Я тихо краснею
за это решение собственных предков —
суровых и бренных.
Не знаю,
чего они этим добились
и что потеряли,
но я повторяю:
— Земля наша
сильно лесами обширна,
лугами удачна,
ручьями обильна.

И только обидно,
что нет на земле
(как бы это сказать,
чтоб звучало толково?)
чего-то
такого...
То сеем не там.
И не то.
И не так, чтобы — к сроку.
Морока!
То вдруг
наводненье стрясется,
набухнет,
нагрянет внезапно,
то — засуха!
Мы вроде и эдак,
и так,
и обратно,
и снова,
да только —
без особого толку.

Как будто мы
чем-то обидели землю,
и жить ей от этого тошно,—
и точка!..
Эгэй,
супермены!
Советчики!
Форды!
Проныры!
Варяги!
Валяйте!!
А ну,
налетай,
джентльмены удачи!
Любители легкой наживы.
Спешите!
Откройте, что сами мы,
в общем,
старались напрасно
(быдло,
низшая раса).
И сделайте, чтоб от жратвы
прогибались прилавки
в сверканье и лаке!..
Чтоб даже в райцентрах любых
ни на миг не потухла
ночная житуха...
А мы вам за это
подарим цветастых матрешек,
протяжную песню про Волгу
и водку.
Икрою покормим,
станцуем вприсядочку,
склоним главу.
Варяги,
ау-у-у!
Придите и правьте.
Мы очень понятливы.
Необычайно проворны.
...До-
воль-
но!!

К чертям!
Супермены,
советчики,
херсты,
рвачи
и так далее,—
видали!
Шеренги
заезжих высочеств,
проезжих величеств,—
валитесь!
Земля наша
сильно людьми знаменита,
в которых —
надежда,
в которых —
спасенье...
Люби
эту землю!

РАЗГОВОР СО СЛУЧАЙНЫМ ЗНАКОМЫМ

— Смотри, как дышит эта ночь.
Звезда, уставшая светить,
упала,
обожгла плечо.
— Чо?
— Смотри, как вкрадчивый туман
прижался
к молодой воде.
— Где?
— Он полночью поклялся ей,
он взял в свидетели луну.
— Ну?!
— Они сейчас уйдут в песок,
туда, где не видать ни зги.
— Гы!..
— И, ощутив побег реки,
в беспамятстве забьется ерш.
— Врешь!
— Да нет, я говорю тебе,
что столько тайн хранит земля,
березы, ивы и ольха.

— Ха!..
— А сколько музыки в степях,
в предутреннем дрожанье рос.
— Брось!
— Да погоди!
Почувствуй ночь,
крадущийся полет совы,
сопенье медленных лосих.
— Псих!
— Послушай,
разве можно так:
прожить —
и не узнать весны,
прожить —
и не понять снегá.
— Ага!..

ХОР СО СТОРОНЫ

А куда нам —
мыслить?
А чего нам —
мыслить?
Это ж —
самому себе
веревочку мылить.
Мы же — непонятливые.
Мы же — недостойные.
До поры до времени
взираем из тьмы...
Кто у вас
на должности
хозяев истории?
А ведь ее хозяева —
извините! —
мы!
Мы —
и не пытавшиеся.
Мы —
и не пытающиеся.
Млекопитающие
и млеконапитавшиеся.
Рядовые.

Жвачные.
Мягкие.
Овальные.
Лица,
не охваченные
проф-
образованием.
Скромные.
Ленивые.
Не хитрецы,
не боги.
Мы —
обыкновенные,
как время само,—
люди-агрегаты
по переработке
всевозможно-всяческой
пищи
на дерьмо!
Нет войны — мы живы.
Есть война — мы живы.
Пусть вокруг
оракулы каркают!..
Вы думаете:
это
работают
машины?!
А это
наши челюсти вкалывают!!
Играйте в ваши выборы,
правительства
и партии!
Бунтуйте,
занимайтесь
стихами и ворьем.
Старайтесь,
идиотики!
На амбразуры падайте!
Выдумывайте,
пробуйте!
А мы пока
пожрем...
Орите!
Надрывайтесь!

Мы
посидим в сторонке.
В тени своих коттеджей,
избушек
и юрт...
Вы думаете:
это
грохочут
новостройки?!
А это
наши челюсти жуют!!
Шагайте в диалектику,
закапывайтесь в мистике,
пускай кричит философ,
догадкой озарен...
Леди и товарищи,
граждане и мистеры,
стройте
ваше
будущее!
Мы и его сожрем...
Подползем,
навалимся неотвратимым весом
и запросто докажем,
как был задуман
мир.
Выставкам и выдумкам,
опусам и эпосам,
физикам и лирикам —
привет!
Аминь.
Глыбы коллектива,
в завтрашнем раю
вам
не подфартило,—
общее «адью!».
На планете вместо
светочей ума
встанут
Эвересты
нашего дерьма!
Брызнут фейерверком
желтые
дымы...

Разжиревшим веком
будем
править
мы!
Мы —
и не пытавшиеся.
Мы —
и не пытающиеся.
Мы —
млекопитающие.
И млеконапитавшиеся.

СНОВА НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

По стебелечку
вверх и вверх
ползет
трявяная вошь...
Зачем живешь,
человек,—
если так
живешь?..
Представь,
что атомный кошмар
двоится и дрожит.
Земля пуста,
как твой карман.
А ты,
допустим,
жив.
Удачлив,
будто царь царей.
Как финн, невозмутим.
Ты выжил.
Вышел.
Уцелел.
На всей Земле —
один.
Один среди песков и льдин,—
куда б ни заходил:
идешь —
один.

Заснешь —
один.
Печалишься —
один.
На этой лучшей из планет,
разорванной, как нерв,
законов —
нет,
знакомых —
нет,
и незнакомых —
нет.
Нет на Земле
на все края,
на длинные года
ни захудалого кота,
ни пса,
ни воробья.
Все выметено.
Все мертво.
От сквозняков
храпя,
пустые станции метро
ждут
одного тебя.
И этот мир не обратим,
никем не обратим.
Поешь —
один.
Идешь —
один.
И видишь сны —
один.
Ты сам —
на шесть материков,—
в дожди,
в жару,
в снега,—
на все моря без берегов,
на пароходы без гудков,
на телефоны без звонков.
(И даже нет
врага.)

Ты сам —
на двадцать первый век...
«Не надо!!
Чур-чура!!»
Зачем кричишь,
человек?
Ведь ты молчал
вчера.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Мы тоже
для кого-то
были будущими.
Грядущими.
Идущими на смену.
Решительной эпохою
разбуженные
для славы и любви.
Для слез и смеха...
Мы тоже
будем прошлыми.
Давнишними.
Несбыточными,
как ушедший поезд.
Подернутыми дымкой.
В меру —
книжными.
И с этим,
к сожаленью,—
не поспоришь...
Хочу понять
без позы и без паники,
случайности
не называя глупыми,—
как после смерти
рядовые бабники
становятся
«больщими жизнелюбами»!
Послушайте!
С ума сошли вы,
что ли?!

«Биограф»
усмехается нелепо
и говорит,
задергивая шторы:
— А это проще
всем известной репы.
Кричать и волноваться нет резона...
Политикою
высшею
ужалены,
мы,
если хочешь,
из твоей персоны
сообразим
«пример для подражанья».
Итак, начнем:
ты был
хорошим сыном.
Зачитывался книжками о войнах.
Завидовал решительным и сильным.
Любил кино,
повидло
и животных...
— Но это все вранье!
— Поди доказывай...
— Я жил!
Я сомневался!..
— Это — лишнее.
Во имя воссозданья
нужной
личности,
тебе сомненья
противопоказаны.
Чтоб от событий в жизни было тесно,
нужны иные
меры и масштабы.
Ты даже не почувствуешь,
как станут
заклятые враги —
друзьями детства.
Твой фотоснимок
мы подретушируем.
В усталые глаза
добавим бодрости.

Чуть-чуть подтянем губы
(так — решительней).
Исправим лоб
(он был
не в той пропорции).
Итак,
ты жил.
Ты презирал богатство.
Читал газеты,
плача и ликуя...
Твоя жена
(приходится вторгаться) —
немножечко не та...
Найдем другую.
— Зачем другая
мертвому?!
— Все правильно.
— Я протестую!
Слышите?!
— Помалкивай!
И, кстати, знай:
для живости характера
ты увлекался
теннисом и марками.
— При чем тут теннис?!
— Объясняем вкратце:
считай его
побочным сверхзаданьем.
Сейчас проходят игры.
Кубок Наций.
А мы пока что
в теннисе
не тянем.
Теперь ты чист
идейно
и морально.
Переосмыслен.
Виден издалека.
Был худосочным?
Стал
почти Гераклом.
Злопамятным?
А стал
милей теленка...

Теперь ты
на трибунах и эстрадах.
Теперь ты —
как Аллах
для правоверных.
Теперь твои портреты
на тетрадях,
на клюкве в сахаре
и на конвертах.
Ты —
идол.
Ты —
безумие повальное!..
Твой бюст переходящий
заслужила
во всепланетном
гранд-соревновании
седьмая
пионерская
дружина.
Твои черты становятся разбухшими.
Возрадуйся,
что ходишь в призовых!..
...А знаете,
мы тоже
были будущими.
Не надо нас придумывать
Живых.

ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Я — как город.
Огромный город.
Может,
ближний.
А может,
дальний...
Города
на приезжий гомон
поворачиваются площадями.
Поворачиваются,
охмуряют
главной улицей,
главной набережной.

Речкой —
будто хвостом —
виляют.
Рассыпаются
в речи набожной.
В них тепло,
торжественно,
солнечно!
Есть
Центральный проспект,
а поблизости:
Площадь Юмора,
Площадь Совести.
Дом Спокойствия,
Дом Справедливости...
А дома —
просторны,
дома —
легки.
Все продумано.
Целенаправленно.

Я — как город.
Но есть в городах
тупики.
Прокопченные
есть
окраины.
Там на всех углах
темнота хрипит.
Там плакатами
дыры
заделаны.
Равнодушный тупик.
Усталый тупик.
Дом Бездельничанья.
Дом Безденежья...
Никого
нет на этих улочках.
Страшновато с ними знакомиться:
тупики не тупые —
умничают.
Тупики не тупые —
колются.

А дворы
заборами скручены.
Дождь лоснится
на кучах мусора...
Знаю, что идет реконструкция.
Жаль,
что медленно.
Жаль,
что муторно...
Ты до площади
успей — добеги!
Осторожнее
разберись в душе.
Не ходи в тупики.
Забудь тупики!
Я и сам бы забыл,
да поздно уже!..
Вот опять слова
немотой свело.
Невесомы они
донельзя...

Я — как город.
Тебе в нем
всегда светло.
Как на выезде из тоннеля.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

Что ж,
пока туристы
и ученые
не нашли Земли Обетованной,—
надо жить
на этой самой,
чертовой,
ласковой,
распаханной,
кровавой.
Надо верить
в судьбы и традиции.
Только пусть
во сне и наяву

жжет меня,
казнит меня
единственно
правильный вопрос:
«Зачем
живу?»
Пусть он возвышается,
как стража
на порогах будущей строки.
Пусть глядит безжалостно.
Бесстрашно.
Пусть кричит!
Хватает за грудки!
Пусть он никогда
во тьму
не канет.
Пусть он не отходит
ни на шаг.
Пусть он, как проклятье,
возникает
в стыдно пламенеющих
ушах!
Пусть он разбухает,
воспаляясь,
в путанице
неотложных дел.
Пусть я от него
нигде не спрячусь,
даже если б
очень захотел!
Пусть я камнем стану.
Онемею.
Зашатаюсь.
Боль превозмогу.
Захочу предать —
и не сумею.
Захочу солгать —
и не смогу.
Буду слышать
в бормотанье ветра,
в скрипе половиц,
в молчанье звезд,
в шелесте газет,

в дыханье века
правильный вопрос:
«Зачем
живешь?»

АХ, ДЕТИ...

Всегда был этот жребий обманчив...
Гоняет кошек
будущий лирик.
Час пробил!
И решается мальчик
поэзию
собой
осчастливить.
Решает вдохновенно и срочно
засесть
за стихотворную повесть.
Пока не написал он
ни строчки,
я говорю:
хороший,
опомнись!..
Литература —
штука такая:
ее
который век
поднимают.
В литературе
все понимают —
хоть сто прудов
пруди
знатоками!..
Живем,
с редакторами торгуясь,
читательским речам
не переча.
Как говорил
философ Маргулис:
«Причесанным —
немножко полегче...»
А мальчики
не знают про это!

И главное —
узнают не скоро...
Ах, дети,
не ходите
в поэты!
Ходите лучше
в гости
и в школу...
Как в очереди:
первый,
последний...
Как в хоре:
басовитый,
писклявый...
Шагаем,
спотыкаясь о сплетни,
в свои дома,
где стены —
стеклянны...
Зеленым
пробавляемся
зельем.
Скандалы называем
везеньем.
Уже умеем пить —
как Есенин.
Еще б теперь писать —
как Есенин...
А мальчики
не знают про это!
А мальчики
придумали скверно...
Ах, дети,
не ходите
в поэты.
Ходите лучше
в парки
и скверы...
Я б эту землю милую
проклял!
Повесился бы,
честное слово!..
Но светится,
дрожа над порогом,

улыбка Михаила Светлова.
В любом из нас
ее повторенье.
В любом из нас
бормочет и стонет
наивное
высокое время.
Где стоит
жить.
И рыпаться
стоит!..
Был мальчик
либо ябедой,
либо
родителей
не слушался мальчик...
Ах, дети,
не играйте в верлибры.
Играйте лучше
в куклы и мячик.

И ОПЯТЬ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

Но, с грядущими дыша заодно,
я зверею
от сусальных картин.
Будет так,
как будет.
Так,
как должно.
Так,
как сделаем.
И как захотим.
Мне занятно думать,
что когда-нибудь,
поразмыслив
над бумагой немой,
наш невиданный,
неслыханный путь
обозначат
восходящей
прямой!

ПОСТСКРИПТУМ

Будут тигры —
в клеточку,
а слоны —
в полоску.
И любому
ленточку
подберут по росту.
Сом зааплодирует
снегозадержанью.
Осам
опротивеет
незнакомых жалить.
И — совсем не рады
бою
барабанному —
станут
генералы
в цирках подрабатывать.
Захмелев от счастья,
позабыв
тоску,
будет плавать
частик
в собственном
соку...
В переливах вальса,—
в ГУМе
и в высотном,—
будет продаваться
развесное солнце.
Жаркое,
весеннее!
Много!
Честь по чести...
Так что краска
серая
навсегда исчезнет.
(Даже мыши
серые
синими
покажутся.

И начнут рассеянно
с кошками
прохаживаться.)
Будет каждый
занят
делом
ненарочным.
Плюшевые зайцы
будут есть
мороженое.
Дождь,—
не затихая
час,
а может, два,—
будет лить
духами
«Красная Москва».
И над магазинами
все прочтут легко:
«Пейте
стрекозиное
мо-
ло-
ко!..»
Будет море —
берегом.
Будет берег —
морем.
Будет холод —
бережным.
А дурак —
неможным!
Будет час —
как сутки.
В областях Союза
от безделья
судьи
и врачи
сопьются!
Будут звезды —
ульями.
Будут страхи —
вздорными.
И воскреснут умные.

И проснутся добрые.
И планеты
скачущие
ахнут
озадаченно!..

А боятся сказочников
только
неудачники.

1965

ДО ТВОЕГО ПРИХОДА

(Поэма)

Алене

Теперь я знаю:
ты
идешь по лестнице.
Вошла в подъезд.
Все остальное —
ложь.
Идешь
как по рассыпанной поленнице,
как по горячим угольям
идешь.
Земля,
замедли плавное вращение!
Лесные птицы,
кончите галдеж!..
Зачем идешь?
Прощать?
Просить прощения?
Сама еще не знаешь.
Но —
идешь!

КОГДА УЕЗЖАЛ...

Позабылись дожди,
отдыхают ветра...
Пора.

И вокзал обернется,—
руки в бока,—
пока!
На перроне озябшем
нет ни души...
Пиши.
Мы с тобою одни на планете пустой.
Постой...
Я тебя дожидался,
звал,
повторял,
терял.
И висела над нами,
будто звезда,
беда.
Так уходят года,
так дрожат у виска
века.
По тебе и по мне
грохочет состав.
Оставь!
Это — губы твои,
движенье ресниц,—
не снись!
На рассвете косом,
в оголтелой ночи
молчи.
Разомкни свои руки,
перекрести.
Прости!
И спокойно,—
впервые за долгие дни,—
усни.

...А ты идешь наверх.
Костром.
Порывом.
Вот
задохнулась.
Вздрогнули зрачки.
Передвигаешь руку по перилам,
как будто тянешь сети
из реки.

Твоя река
сейчас наверх стремится.
А что в сетях?..
Нет времени...
Потом...
Стучит
эмалированная миска
в соседкиной авоське
о бидон.
Соседка что-то говорит печально.
Все жалуется...
Деньги...
Сыновья...
И ты ей даже что-то отвечаешь,
хотя тебя
еще не слышу я.

КОГДА ПРИСЛУШИВАЛСЯ...

Слухи,
слухи,
слухи,
слухи,—
то начальники,
то слуги.
Слухи-горы,
слухи-льдины
налезают на меня.
Нету дыма,
нету дыма,
нету дыма
без огня.
Для веселья,
для разлуки,
на глазах и на устах —
снова слухи,
слухи,
слухи
просто
и не просто
так.
Прокляты,
необходимы —

среди ночи,
среди дня.
Нету дыма,
нету дыма,
нету дыма
без огня.
Слухи-отдых,
слухи-опыт
без особенных затей:
существует
тихий омут.
Как
всадить в него
чертей?..
Кто поверить надоумил,
слухи-карты разложив?
Я —
по слухам —
дважды умер.
Дудки!
Оба раза
жив...
То внушительно,
то наспех,
то наградой,
то бедой,—
будто капли,
будто айсберг:
половина —
под водой,
Слухи сбоку,
слухи с тыла,
завлекая и маня.
Нету дыма,
нету дыма,
нету дыма
без огня.
...Слышали:
на школьнице
женился академик!..
Слышали:
в Госбанке
для зарплаты нету денег!..

Слышали:
поэт свалял
такого дурака!..
Слышали:
она ему
наставила
рога!..

КОГДА СМЕЯЛСЯ...

Рога так рога.
Я приглажу патлы.
В подушку поплачу.
В тетрадку поною.
И буду сдавать
драгоценные панты
каждой весною.
Каждой весною.
Платите валютой!
Зелененьким хрустом.
Фигура у кассы
глаза намозолит.
По средам
с лицом
независимо-грустным
я буду, вздыхая,
купюры мусолить.
«Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!..»
...А если на миг
отодвинуть веселье,
пятнадцатый век
мою голову сдавит.
Я —
только гонец.
Я скачу с донесеньем.
Король растревожен.
Король заседает...
Врываюсь в покой
тугодумов лобастых
и, рухнув плашмя
на подстилку из меха,
я,

булькая кровью
(стрела меж лопаток),
хриплю,
будто школьник по буквам:
«Из...
ме...
на...»

«Калинка, калинка,
калинка моя!
В саду ягода малинка,
малинка моя!
Ах, люли-люли!..»
Эх, люди-
люди...

...А ты идешь
по лестнице,
идешь по лестнице.
Шагаешь,
как по лезвию,
через нелепицы.
И мечешься,
и маешься,
мечтая,
каясь...
Нет!
Ты не подымаешься,—
я сам
спускаюсь!
Романы обездарены,
отпели трубы...
О, сколько нас —
«подаренных» —
идет
друг к другу!..
Мы,
окрыляясь тостами,
царим
над столиками.
Читаем книжки — толстые,
а пишем — тоненькие.
Твердим
о чистой совести,

вздыхаем
мудро...
А сами
неосознанно
идем
к кому-то...

КОГДА ЛЮБИЛ...

Люб-
(Воздуха!
Воздуха!
Самую малость бы!
Самую-самую.)
лю!
(Хочешь,
уедем куда-нибудь
заново,
замертво,
за море?)
Люб-
(Богово — богу,
а женское — женщине
сказано,
воздано.)
лю!
(Ты покоренная.
Ты непокорная...
Воздуха!
Воздуха!)
Люб-
(Руки разбросаны.
Губы закушены.
Волосы скомканы.)
лю!
(Стены расходятся.
Звезды, качаясь,
врываются в комнаты).
Люб-
(В загнанном мире
кто-то рождается,
что-то предвидится.)

лю!
(Где-то
законы,
запреты,
заставы,
заносы,
правительства.)
Люб-
(Врут очевидцы,
сонно глядят океаны остывшие.)
лю!
(Охай, бесстрашная!
Падай, наивная!
Смейся, бесстыжая!)
Люб-
(Пусть эти сумерки
станут проклятием
или ошибкою.)
лю!
(Бейся в руках моих
каждым изгибом
и каждою жилкою!)
Люб-
(Радостно всхлипывай,
плачь и выскальзывай,
вздрагивай,
жалуйся!)
лю!
(Хочешь — уедем?
Сегодня? —
пожалуйста.
Завтра? —
пожалуйста!)
Люб-
(Царствуй, рабыня!
Бесчинствуй, учитель!
Неистовствуй, женщина!)
лю!
(Вот и глаза твои.
Жалкие,
долгие
и сумасшедшие!..)

Люб-
(Чертовы горы уставились в небо
темными бивнями.)
лю!
(Только люби меня!
Слышишь,
люби меня,
знаешь,
люби меня!)
Люб-
(Чтоб навсегда!
Чтоб отсюда — до гибели...
Вот оно...
Вот оно...)
лю!
(Мы никогда,
никогда
не расстанемся...
Воздуха...
Воздуха!..)

...А лестница
выше.
А двери —
похожей.
Я знаю,
я вижу,
я чувствую
кожей,—
шагаешь
по далям,
шагаешь
по датам.
Недавним
и давним.
Святым
и бездарным.

КОГДА ОТЧАЯЛСЯ...

Кукушка:
«Ку-ку!
Живи на земле...»
А палец —
к курку.

А горло —
к петле.
А небо —
к дождю
(галоши надень)...
Сгибаясь,
тащу
две тыщи недель.
Две тыщи суббот
(взвали,
если жив).
Следы
от зубов
своих
и чужих.
Все отблески
гроз
на глади
стола.
И тихий вопрос:
«Зачем ты
была?..»
Несу на горбу,—
не сгинув
едва,—
чужую
судьбу,
слепые
слова.

Кукушка:
«Ку-ку!
Останься.
Прошу...»
А я
не могу.
А я
ухожу.
Цветы в изголовье,
и тень на лице.
И ночь
на изломе.
И пуля
в конце.

...А ты все время —
вверх,
все ближе,
ближе.
Из-под закрытых век
тебя я вижу.
Идешь,
как инвалид,
ступаешь ватно.
И кто заговорит,—
уже
не важно.
Не важно,
кто начнет,
а кто продолжит.
Себя
перешагнет.
Жизнь
подытожит.
Взойдет на перевал.
Вернет,
отчаясь,
затасканным
словам
первоначальность.

КОГДА ВЫЖИЛ...

Что я?!
Что это я?!
Да что я?!
В воспаленном:
«То...
иль не то?..»
Выбрал
самое распростое.
Проще пива.
Глупей лото...
Расплываюсь
в слезливом трансе.
Вопли кончены.
Не берет...

Вы
орите!
А я
наорался
на десяток годов
вперед.
По озерной метельной глади
прет
весенних недель
орда.
Все будильники мира,
гряньте!
И замолкните
навсегда.
Лишним криком
эпоха скомкана,
смята
грохотом календаря...
Да отсохнет
язык
у колокола,
если он трезвонит
зазря!..
Реки движутся
в каменных шорах,
дни уходят в небытие...
Крик
устал.
Да здравствует
шепот
двух людей:
его
и ее.

...Застыла у дверей.
Теперь
помедли.
Невыносимой тишине поверь.
Вчера меж нами
были
километры.
Сегодня —
только тоненькая дверь.
Подмигивают фонари спросонок.

Над зимней ночью
взмахи снежных крыл.
Нам очень скоро сорок.
Очень
сорок...

Войди в свой дом.
Я двери отворил.

1967

Из сборника
ПОСВЯЩЕНИЕ
1967—1970

***

На Земле
безжалостно маленькой
жил да был
человек маленький.
У него была служба
маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату
маленькую...
И однажды —
прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая,
казалось,
война...
Автомат ему выдали
маленький.
Сапоги ему выдали
маленькие.
Каску выдали
маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель.
...А когда он упал —
некрасиво,
неправильно,

в атакующем крике
вывернув рот,
то на всей земле
не хватило
мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!

СЕРДЦЕ

Я засыпал усердно
в преддверии зари...
Вдруг
постучало сердце.
Негромко.
Изнутри.
И с самого начала
притронулось к плечу:
«Я тридцать лет молчало.
Поговорить
хочу...
Пересыхает лето.
Дожди приходят редко...
Твоя
грудная клетка
тонка,
а все же — клетка.
Она
кромешней ночи,
меня теснит она.
Я
вечно
в одиночке.
А в чем моя вина?
Ворочаюсь,
живое,
подсчитываю дни.
Пусти меня
на волю!

Клетку распахни!
Себе я крылья
выращу
и все сумею
вынести...»

Стучится сердце:
«Выпусти!!»
А как его я
выпущу?

ЧАСТУШКА

Б. Шмидту

Вдали
попыхивал закат
и продолжался в платьях.

Селом
шатался музыкант,
аккордеон облапив.
Шагала музыка к реке,
отсвечивая тускло.
За нею,
как на поводке,
тянулася
частушка.
Велась
знакомая игра
и голоса и чуба.
В частушке
две строки —
мура!
Две остальные —
чудо!
Бренчит частушка,
как медаль,
и голову дурманит.
Чего б ты от нее
ни ждал —
она тебя
обманет!..

Река
под музыку бежит,
закапало из тучки.

Ах, людям надо бы
пожить
по принципу частушки!
Ах, это было бы
чудно:
когда снега растают,
вдруг сделать что-нибудь,
чего
никто
не ожидает!

САРЬЯН

Сарьян рисует, бормоча.
Ворча, Сарьян рисует.
Худой,
прозрачный, как свеча.
Рисует,
будто судит...
Он говорит:
«Сиди ровней.
Зачем плывешь, как масло?
Ты —
в маске.
Очень сладко в ней.
Сейчас исчезнет
маска!
Скрипишь зубами?
Не беда!
Ты зол,
но травояден.
Что?
Уползаешь?..
Никуда
не денешься,
приятель».
До судорог,
до тошноты,
под канонаду пульса!
И —
вот он,
вот он,
вот он — ты!

Закончено.
Любуйся...
Он дышит, как бегущий лось.
К спине
рубаха липнет...
Крича,
рисует Мартирос.
В конце работы —
хрипнет.
Сейчас он
как уснувший взрыв
на перевале горном.
Сидит,
глаза полузакрыв,
нахохлившийся кондор.
И кажется бескрылым,
но
от этого порога
ушли в полет
давным-давно
крылатые
полотна!..
Окно раскрыто,
а за ним
просторно и морозно.

И Арарат
как будто нимб
над гривой
Мартироса.

***

Ежедневное чудо —
не чудо.
Ежедневное горе —
не горе.
Настоящее горе
другое.
И о нем говорить не хочу я.
Ежедневные блестки,
как ветошь.
Ежедневная ноша
не давит.
В ежедневные слезы
не веришь.
Не тревожит.
Надоедает.
Лжет язык
в ежедневном застолье.
Бесконечные вопли
писклявы.
Постоянные вздохи —
не вздохи.
Ежедневные клятвы —
не клятвы.
Ежедневная ссора —
не ссора...
Но,
над спелой росой нависая,
вдруг встает
ежедневное солнце.

Ошарашивая.
Потрясая.
Ежедневной земли
не убудет.

И шепчу я,
охрипнув от песен:
пусть любовь
ежедневною будет.
Ежедневной, как хлеб.
Если есть он.

РЕЧКА

А эта речка так течет!
Стоишь и смотришь:
— Ах ты, черт!
Куда же ты,
судьба моя?

Она в ответ:
— Иду в моря...

— Ты ж
перестанешь быть рекой.

— Я знаю.
Мой удел
такой.
Умру,
пересчитав мосты...
Но я нужна.
Нужна!..

А ты?

***

И ночь холодна.
И день голубой.
И души людские
в обойму втиснуты...
Но ведь будет когда-нибудь
последний
бой
на этой крутящейся,
круглой,
единственной!
Придется
высшую правду понять.
И где-то
на пятом часу наступления,
улыбнувшись,
последнюю пулю принять...
(Если б только знать,
что она —
последняя!)

***

Мы в ревущих колоннах
как в газетных колонках.
Однозначные
буквы
от Амура
до Буга.
По-крестьянски корявы,
по-боярски нарядны —
станем рядом,
и сразу
образуется
фраза!
Та, что с громом на равных.
Та, что мир осветила.
Это — мы!
От заглавных
до слепого петита.
Продолженье сказаний
на ветру ошалелом...
Кто нас пишет?
Мы сами!
Чем нас пишут?
Железом!
Сквозь разводы подпалин
мы, как пот,
проступаем.
И Гераклы.

И Будды.
И бессмертье.
И злоба.

Мы в Истории —
буквы.
Лишь немногие —
слово.

БАЛЛАДА О СПАСЕННОМ ЗНАМЕНИ

Утром
ярким, как лубок.
Страшным.
Долгим.
Ратным.
Был разбит
стрелковый полк.
Наш.
В бою неравном.
Сколько полегло парней
в том бою —
не знаю.
Засыхало —
без корней —
полковое знамя.
Облака
печально шли
над затихшей битвой.
И тогда
с родной земли
встал
солдат убитый.
Помолчал.
Погоревал.
И —
назло ожогам —
грудь свою
забинтовал
он
багровым шелком.

И подался на восток,
отчим домом
бредя.
По земле
большой,
как вздох.
Медленной,
как время.
Полз
пустым березняком.
Шел
лесным овражком.
Он себя
считал полком
в окруженье вражьем.
Из него он
выходил
грозно и устало.
Сам себе
и командир,
и начальник штаба.
Ждал он
часа своего,
мстил
врагу
кроваво.
Спал он в поле,
и его
знамя
согревало...
Шли дожди.
Кружилась мгла.
Задыхалась буря.
Парня
пуля
не брала —
сплющивалась
пуля!
Ну, а ежели
брала
в бешенстве напрасном —
незаметной
кровь была,

красная
на красном...

Шел он долго,
нелегко.
Шел
по пояс в росах,
опираясь на древко,
как на вещий
посох.

СТИХИ О ПОСЛЕДНИХ МЕТРАХ

Готовься,
музыка,
для всплесков медных!..

Я славлю
мужество
последних метров!
Мелькнут и канут
цвета и блики.
А рот
распахнут,
как будто в крике.
И воздух горький —
комком у горла.
А бровка —
в гору!
А бровка —
в гору!
Все выше,
выше,
за гранью риска...
Соперник
дышит
до жути близко.
И, значит,
должно
прибавить скорость.
А мысли:
точка!
А сердце:
кончусь!

Судьба —
в оправах
секундомеров...

Я славлю
правду
последних метров!
Ты душу выложил,
дрожишь, устав...

И нету
финиша.
Есть новый старт.

ПРИЗНАНИЕ КИНОДУБЛЕРА

Я — кинодублер.
Не слыхал
о профессии этой?
Пока невоспетой.
И правильно,
что невоспетой!
Понять не могу,
почему мне еще не обрыдла
профессия драться,
профессия прыгать
с обрыва,
во имя искусства
идти на волков и на тигров...
Плевать мне,
что имя мое не указано в титрах!
Хоть там,
где я падаю,
редко лежат
поролоны.
И ноют
к дождливой погоде
мои переломы.

Я — кинодублер.
Я летаю,
бегу
и ныряю.
Не верю в страховку.
Себе одному
доверяю...

Допустим,
идея сценария всех полонила.
Картина —
в работе.
Отснята
почти половина.
Герой закапризничал.
Начал
канючить и плакать.
В такую погоду
герою не хочется плавать.
Натура «горит».
Режиссер
шевелюру лохматит.
Меня
вызывают.
И я говорю им:
«Снимайте!»
И вот я плыву.
Я скачу на коне.
Я фехтую.
Пью чай в перерывах.
На руки озябшие дую.

Разбито колено.
Плечо под кровавой корою.
А рядом снимаются
крупные планы
героя.
Я — мышцы его.
Я — бесстрашье его.
Я — решимость.

Я — кинодублер.
А дублерам
нужна одержимость!
И снова я лезу куда-то
по чертовой стенке.
А хилый герой
репетирует
сцену
в постельке.
Я в нем растворюсь,
как река растворяется в море...

Наверное, после
он будет и в славе и в моде.
Наверно, потом
он расскажет, как падал,
как дрался.
И как ему было приятно.
И чуточку страшно.

Я — кинодублер.
Я, наверное, злюсь
без причины...
Пусть девочки верят,
что он —
настоящий мужчина!
А этот мужчина
с гримершей ругается
долго.
А в нем от мужчины,
пожалуй что, брюки.
И только.

Я — кинодублер.
А сегодня я пью и тоскую.
Давай за дублеров,
которые жизнью рискуют!
Ты —
тоже дублер.
Ты порою вопишь исступленно.
Другие —
молчат.
Им легко
за спиною дублера.

ПОЛНОЧЬ

Будь распят
на кресте распахнувшихся рук!
Забывай.
Забывайся.
Терзайся и падай.
Сердце
вырвалось.
Бьется в тебе и вокруг.
Жди оценки.
Дрожи, будто школьник за партой...
В сотый раз опрокинется мир молодой
Вновь покажутся молнией
черные ветки.
Снова полночь
знакомо положит ладонь
на горячие,
на просветленные веки...
Будет тихо.
Потом —
ни с того ни с сего —
ночь вздохнет
тополиной
дурманящей ширью.
Кто —
до нас?
Никого!
После нас?
Никого!
Мир возник на секунду,
чтоб мы в нем жили.

***

— Отдать тебе любовь?
— Отдай.
— Она в грязи.
— Отдай в грязи.
— Я погадать хочу.
— Гадай.
— Еще хочу спросить.
— Спроси.
— Допустим, постучусь.
— Впущу.
— Допустим, позову.
— Пойду.
— А если там беда?
— В беду.
— А если обману?
— Прощу.
— «Спой!» — прикажу тебе.
— Спою.
— Запри для друга дверь.
— Запру.
— Скажу тебе: убей!
— Убью.
— Скажу тебе: умри!
— Умру.
— А если захлебнусь?
— Спасу.
— А если будет боль?
— Стерплю.
— А если вдруг стена?
— Снесу.

— А если узел?
— Разрублю.
— А если сто узлов?
— И сто.
— Любовь тебе отдать?
— Любовь.
— Не будет этого!
— За что?!
— За то, что не люблю рабов.

***

Кому принадлежу?
Принадлежу
тому, что преходяще
и бесценно.
И цифрам вычислительного центра,
и весело орущему стрижу.
Принадлежу
закату и заре.
Березе,
ниспадающей в Онегу.
Принадлежу
медлительному снегу,
рожденному
в полночном фонаре.
Дорожным разговорам по душам.
Гостиницам величественно душным.
Богам
поверженным.
Богам
грядущим.
Редакторским цветным карандашам.
То званый,
то не нужный, как нагар,
принадлежу
удачам и уронам.
Аэродромам.
И пустым перронам.
Друзьям.
И в меру вежливым
врагам.

Живу.
Умею.
Знаю.
И могу.
Терплю.
Вникаю.
Верю и не верю.
И все-таки
принадлежу мгновенью,
когда мне дочка говорит:
«Агу...»
Принадлежу
предчувствию вины.
Ветрам
над непокрытой головою.
Окопам,
захлебнувшимся травою.
И обелискам
завтрашней войны.
Еще принадлежу
воде в горсти.
Дню,
рыжему от солнечных проталин,
который так талантлив,
так бездарен
и так высок,
что мне
не дорасти.

В квадратик телевизора гляжу.
Принадлежу
и твистам и присядкам.
Принадлежу
законам и присягам.
А значит, и себе
принадлежу.

***

Мы живем в предвоенное время.
Предразлучное.
Предпоходное...
Не желаю,
чтоб подобрели
командиры наши пехотные.
Танки,
тяжкие, как терпение,
переваливаются на марше.
И скрипят
ремни портупейные.
И ладонь —
в оружейном масле.
Радиолы зовут напрасно.
Полдень длится.
И полночь длится.
И Россия
глядит пристрастно
в похудевшие наши лица.
И отцы звенят орденами
над мерцанием
рюмок незвонких.
Обо всем,
что случится с нами,
вы прочтете в письмах.
И сводках...
У истории
неистошный
голос.

Крики потонут в бездне...
Над землею дальневосточной
ходят тучи,
как в старой песне.
Будет трудно?
А что поделать!
Будет смертно?
А как иначе!..
У шлагбаумов запотелых
тормоза визжат
по-щенячьи.
Тонет сумрак в дожде мгновенном.
Козыряют нам часовые.

Не впервые
за послевоенным —
предвоенное.
Не впервые.

СТАРЬЕВЩИК

Я помню,
как по Омску,
годами убелен,
толкал старик повозку:
«Э-эй,
старье берем!»

И становилось шумно
и тесно от узлов.
В пыли
валялись
шубы
и куклы без голов.
Линялые рубахи,
гнилые сапоги,
заржавленные банки,
без ручек утюги...
Старик шутил умеючи,
он был
навеселе.
Позванивая мелочью,
копался в барахле.
Хватал
руками цепкими,
всесильный,
как закон,
осматривал,
оценивал
и цокал языком.

И над людьми
галдящими,
над латаным бельем
неслось его
протяжное:
«Э-эй,
старье берем!»

А мне казалось:
это
взывают времена.
И существует где-то
особая страна.
Страна,
где очень ценится
ненужное старье.
Там церкви
в небо целятся,
задумавши
свое.
Там люди спят подолгу.
Там каждый дом как склеп.
Там продается только
заплесневелый
хлеб.
Там плачут
и печалятся.

Там учат,
но пока —
учебники
кончаются,
где средние века.
Там сполохи дрожащие.
Там пыли —
не трудись.
Заместо красок —
ржавчина.

И моль —
заместо птиц.
Там самолет
не видели.
Там торжествует
тьма.

Там старые правители,
сошедшие с ума.
И, от приказа ежась,
за месяц до войны
во двор
пришел старьевщик
шпионом
той страны.

НИКТО НИКОМУ НЕ ГРУБИТ

В музее тепло и пустынно.
Директор шагает со мной.
«Вот эта большая картина
написана
перед войной.
И что нам особенно важно —
показан
типичнейший быт...
Названье ее
странновато:
«Никто
никому
не грубит».

На лавке,
как будто на троне,
который всему
научил,
сидят,
неподкупные,
трое
спокойных и сильных мужчин.
Надежда рыбацкой элиты,
защита от всяких обид...
Ставрида,
вино
и маслины.
Никто
никому
не грубит.

И женщина сбоку.
Непрочно
ее полушалок цветет.
Чуть-чуть она даже
порочна.
Но это ей, в общем, идет!
Над нею
мужская когорта
вершит
справедливейший суд.
Сейчас они встанут
и гордо
решение произнесут.
Мужские права обозначат.
Поднимут бокалы вина.
Они еще пьют
и не знают,
что все переменит
война...
Один,
орденами бряцая,
вернется лишь в сорок шестом.
Подастся другой в полицаи.
Его расстреляют
потом.
А третий —
большой и довольный —
под Харьковом
будет убит...
И женщина
станет вдовою...

Никто
никому
не грубит.

***

Не стоит от себя бежать,
глаза потупив...
Поступки
надо совершать!
Одни поступки!

Поступок —
в трусе разбудить
замах героя.
Поступок —
жить,
не затвердив
чужие роли.
Поступок —
быть собой
в дыму
и клятве пылкой.
Поступок —
вопреки всему
молчать под пыткой!
Поступок —
много долгих дней
гореть,
а после
порвать поэму,
если в ней
хоть капля
позы.
Прикажет время зубы сжать —
не протестуйте.

Поступки
надо совершать!
Одни поступки!
И кровь твоя через ничто,
дымясь,
проступит...

Ведь если жизнь — поступок,
то
и смерть —
поступок.

***

Родных разыскиваю,
родных...
Веселый хруст сухарей ржаных.
Два слова,
сказанных невзначай.
В горячих кружках
бесцветный чай.

Родных разыскиваю,
родных...
Детдом вспоил меня,
как родник.
Ребята
с временем обнялись.
(Имен не помню.
Не помню лиц.)

Родных разыскиваю,
родных...
Курящих в тамбурах ледяных.
Солдат небритых, как будто лес.
«Не дрейфь, малец!
Победим,
малец!»

Родных разыскиваю,
родных...

Не смог бы я ничего без них.
Зову:
откликнись,
моя родня.

О, если б кто-то
искал меня!

***

Снег шел, как больной.
А после
на три месяца
слег.
Лежал —
одинокий и постный —
как перенесенный
слог.
Гулко собаки лаяли,
на каждый сугроб ворча.
Дальние льдины Гренландии
прислали снегу
врача.
Белый халат
метелей
затрепетал над больным.
Вязли в снегу
недели.
Дети
играли с ним.
В снегу застывали сутки,
и было бы все ничего,
но скальпель
живой сосульки
однажды взрезал его.
Снег умирал без стона,
отяжелев весьма...

А люди,
выйдя из дома,
сказали:
«Ну вот и весна!..»

***

Над головой
созвездия мигают.
И руки сами тянутся
к огню...

Как страшно мне,
что люди привыкают,
открыв глаза,
не удивляться дню.
Существовать.
Не убегать за сказкой.
И уходить,
как в монастырь,
в стихи.
Ловить Жар-птицу
для жаркого
с кашей.
А Золотую рыбку —
для ухи.

БАЛЛАДА О БЕССМЕРТИИ

Хотя гудят:
«Пора!» —
изящные валторны,
забудьтесь,
тенора!
Остыньте,
баритоны!..
Я расскажу теперь,—
жаль,
если не сумею,—
как наш товарищ
пел
в двадцатом.
Перед смертью.
Он умер
для того,
чтоб мы не умирали...
Карателиего,израненного,брали.Заржавленным прутомиспытывали силу.Умаялись.Потомвелелирыть могилу...Надутый,будто еж,увешанный оружьем:

«А может,
ты споешь?..» —
смеясь,
спросил хорунжий...
Луна ползла,
как тиф.
Безжизненно.
Сурово...
И вздыбился
мотив!
И прозвучало
слово!
Пел
песню
комиссар.
Пел,
выбрав гимн из гимнов.
Пел,
будто воскресал.
Пел,
голову закинув.
Пел,
будто пил вино.
Пел,
хвастаясь здоровьем.
«Мы наш,—
он пел,—
мы но-
вый мир,—
хрипел,—
построим!»
Был темным,
как земля.
И мокрым,
как из бани.
Пел,
еле шевеля
разбитыми губами.
Шептал слова
не в такт,
упрямо повторялся...
И получалось так,
что он не пел,
а клялся!

Литые фразы
жгли,
с зарей перемежаясь...
Хорунжий крикнул:
«Пли!»
А песня
про-дол-жа-лась.
Была грозе
сродни,
светилась
и трубила!..
В руках у солдатни
плясали
карабины.
Дрожали молодцы —
ни стати
и ни прыти...
Великие певцы,
пожалуйста,
замрите!..
Пусть видит комиссар,
как в озаренье алом
встает
высокий зал
с «Интернационалом»!
И солнечно в судьбе.
И ощущаешь гордость.
И веришь,
что в тебе —
тот
комиссарский голос!

ПОДКУПЛЕННЫЙ

Все советские писатели подкуплены.
(Так о нас пишут на Западе)

Я действительно подкуплен.
Я подкуплен.
Без остатка.
И во сне.
И наяву.
Уверяют советологи:
«Погублен».
Улыбаются товарищи:
«Живу!»
Я подкуплен
ноздреватым льдом кронштадтским.
И акцентом
коменданта-латыша.
Я подкуплен
военкомами гражданской
и свинцовою водою
Сиваша.
Я еще подкуплен снегом
белым-белым,
Иртышом
и предвоенной тишиной.
Я подкуплен кровью
павших в сорок первом.
Каждой каплей.
До единой.
До одной.

А еще подкуплен я костром.
Случайным,
как в шальной игре
десятка при тузе.
Буйством красок Бухары.
Бакинским чаем.
И спокойными парнями с ЧТЗ.
Подкупала
вертолетная кабина,
ночь
и кубрика
качающийся пол...
Как-то женщина пришла.
И подкупила.
Подкупила —
чем? —
не знаю до сих пор.
Но тогда-то жизнь
я стал считать по веснам.
Не синицу жду отныне,
а скворца.
Подкупила дочь
характером стервозным,—
вот уж точно,
что ни в мать
и ни в отца.
Подкупил Расул
насечкой на кинжале.
Клокотанием —
ангарская струя.
Я подкуплен
и Палангой
и Кижами.
Всем, что знаю.
И чего не знаю я.
Я подкуплен зарождающимся словом,
не размененным пока на пустяки.
Я подкуплен
Маяковским и Светловым
и Землей,
в которой сбудутся
стихи!..

И не все еще костры отполыхали.
И судьба еще угадана не вся...

Я подкуплен.
Я подкуплен
с потрохами.
И поэтому купить меня
нельзя.

***

Если разозлишься на меня
так,
что скажешь:
«Кончено!» —
сполохи полярного огня
вспыхнут озабоченно.
Подползут, чтоб вымолить
«прости!»,
дальние,
незваные,—
железнодорожные пути
и пути трамвайные.

Если разозлишься на меня —
полдень переломится.
Горькими
иголками
звеня,
лес
тебе поклонится.
Степь
не даст зазеленеть росткам,
сделается вязкою.
Горы упадут
к твоим ногам,
ледниками звякая.

Если разозлишься на меня,
выдохшись и выстрадав,

звезды в небе
среди бела дня
будто слезы
выступят.
Будут повторять:
«Ты не права!..»
ветер —
дымной прядкою,
тучи —
громом,
шелестом —
трава,
и дрожаньем —
радуга.
Будут миру
предвещать беду
черные ущелия.

А сначала
я к тебе
приду.
Сам.
Просить прощения.

***

Ожидаю ночи,
как расстрела.
Я приговорен.
Глаза
пусты.
Надеваю
тихо и смиренно
душную повязку темноты.
И еще не верю в эти строки.
И уже других не признаю.
Я на полпути,
на полдороге
к сонному
тому
небытию.
Близится,
подходит,
наступает,
стрелкою секундною звеня.
Включена моя вторая память.
Вон он я.
И вроде
нет меня.
А вокруг —
молчание немое,
смесь
из воскресений и суббот.
И плывут
по медленному морю
жалкие соломинки забот.

Я за них хватаюсь обалдело.
Я тону в горячечном бреду...

Ожидаю ночи,
как расстрела.
Утра,
как помилованья,
жду.

***

Савве Бродскому

Я богат.
Повезло мне и родом
и племенем.
У меня есть
Арбат.
И немножко свободного времени...
Я
подамся
от бумажных
запутанных ворохов
в государство
переулков,
проспектов
и двориков.
Все, что я растерял,
отыщу в мельтешении радужном.
Где витой канделябр
и бетонные глыбины —
рядышком.
Где гитары
щекочут невест,
где тепло от варений малиновых.
Где колясок
на каждый подъезд
десять —
детских
и две —
инвалидных.

Там, где будничны
тополя
перед спящими школами.
Там, где булькают,
как вскипевшие чайники,
голуби.
Выхожу не хвалить,
не командовать
уличной вьюгою.
Просто так
улыбаться
и плыть
по Арбату
седеющим юнгою.

ПЕРВЫЕ

Аппараты
летательные.
Исходы
летальные...

Что звалось
«само-летом»,
не летало само.
Было странным,
далеким,
как чужое письмо.
Были
воздухоплаватели,—
шик и почет,—
как шкатулки из платины —
наперечет.
Гордецы,
командоры
застольных шумих.
Суеверны, как вдовы.
Красивы, как миф.
Острословы.
Гусары.
Знатоки мишуры.
Непременно
усаты.
Абсолютно
храбры.
Кожей курток похрустывая,
шли навстречу громам.

Будто в ложе прокрустово,
влезали
в «фарман».
И взлетали, касатики!
И кричали, паря!
Были
выше Исаакия.
Выше царя!..

Уговоров не слушались.
И, познав круговерть,
обрывались
и рушились
на российскую твердь.
Уходили до срока —
без войны,
без чумы —
в землю
чаще намного,
чем
в большие чины.

***

Есть царственность спесивая
в березовых поленьях.
И все тропинки зимние —
лишь повторенье
летних.
Средь леса оглушенного
«ау!»
стихает грустно.
Зима —
она для шепота.
Для шороха.
Для хруста.
Она лежит размашисто.
Сугробы —
как коленки...
Еще до марта
маяться
лыжне-узкоколейке.
И пахнет пнями ветхими.
И поле
слито с небом.
И снег
подчеркнут ветками.
Сушняк
зачеркнут снегом.

МУЗЫКА

Загремели свадьбы,
застонали проводы.
Перепутались и праздники и плачи...
Строки нотные стоят
колючей проволокой.
Я бы музыку записывал
иначе.
Я бы музыку писал,
на клевер падая.
Мне бы нравилась
поющая работа.
Я бы музыку писал
на строчках пахоты.
На ладошке
годовалого ребенка.
Засыпал и просыпался.
Ел не досыта.
Растворился б
в неожиданных мотивах.
Я бы музыку писал
на струйках дождика.
Или лучше —
на летящих паутинках.
Я бы музыку ловил
в озерах ласковых.
Я бы пил ее,
как пьют хмельное зелье.
Я бы музыку писал
на крыльях ласточек.

Я бы музыку писал
на шкуре зебры.
Я бы музыку творил,
кричал и мучился!
Я б искал ее
возвышенно и жадно.

Но уже сочинена
такая музыка.
Если ты ее не слышишь —
очень жалко.

ОСЕНЬЮ

Ю. Томину

Ленинградская погода.
Дождит.
Город
тучами накрыт с головой.
Мне советовали:
«Солнца дождись».
Не дождался.
И прощаюсь
с Невой.
А реке не до того.
А река
монотонна,
необъятна,
густа.
И почтительны
ее берега.
Оглушительна
ее простота.
Дождь летит по непонятной кривой.
У Невы
и для дождей
есть ответ.
И становятся дождинки
Невой,
смысл ее приобретая

и цвет.
Неподвижная вода разлеглась.
Мокрый ветер обжигающе скуп.

Возле самых ног Нева.
Возле глаз.
Возле сердца.
Возле сомкнутых губ.

БАРАБАН

Серебристый,
как полынь,
дирижер в костюме праздном
дирижировал,
как плыл
через яму
нервным брассом.
Он рукою загребал.
Музыканты багровели...
Барабанщик в барабан
колотил,
как пьяный
в двери!
Он старался,
он потел,
грохал,
шевеля губами.
Будто разбудить хотел
тех,
что жили в барабане.
Бухал —
черт его дери! —
будто по железной крыше...
Но, наверное,
внутри
спали,
ничего не слыша...

Барабанщик был без чувств.
Он раскланялся,
шатаясь...

Я в тебя
стучусь,
стучусь.
Разбудить тебя
пытаюсь.

ПЕГАС

Заполнены дворы собачьим лаем.
На лестнице гудит нетрезвый бас...
В век синхрофазотронов
мы седлаем
лошадку
под названием
Пегас.

Вокруг нее —
цветочки и зловонье.
И дождь идет,
как будто напоказ...
Мотает непокрытой головою
лошадка
под названием
Пегас.

Она бежит,
она слюну роняет.
И все-таки —
уже в который раз —
тихонечко
ракеты
обгоняет
лошадка
под названием
Пегас.

Пустынный пляж
тепла у солнца просит.
Закатный лучик вздрогнул и погас...
А мы себе живем.
А нас вывозит
лошадка
под названием
Пегас.

***

Написал:
«Живу себе...»

Как это:
живу
себе?!
В суете,
в делах,
в гульбе.
Затерявшийся в толпе.
Жду себе.
Себе острю.
Одному себе
ворчу.
То не вовремя
молчу.
То не к месту
говорю.

Ну, а если наяву,
разобраться по судьбе,
я сперва
тебе живу.
Вам живу.
Потом —
себе.

МИНУТА МОЛЧАНЬЯ

М. Пархомову

Замрите,
докладчики,
слово мочаля!
Минута молчанья.
Минута
молчанья...

Не смейте греметь,
орудийные глотки!
Молчите,
станки
и квартирные склоки.
Ревущий в покорную трубку начальник,
молчи!
Потому что —
минута молчанья.
Забудьте о целях своих,
мегатонны.
Не смейся,
паяц!
Замолчите,
моторы!
Усните,
гудки
и эстрадные ритмы.
Ребенки в родильных домах,
не орите.

Застыньте,
над скифом взметенные весла.

Эй, люди!
Подумаем очень серьезно,
как
жить
на земле.

***

Не убий! —
в полумраке грошовые свечи горят.
Из глубин
возникают слова
и становятся в ряд.
Если боль
и набухли кровавые кисти
рябин,
если бой,—
кто услышит твое:
«Не убий!..»

Мы слышны
только самым ближайшим
друзьям и врагам.
Мы смешны,
если вечность
пытаемся бросить к ногам.
Есть предел
у цветка,
у зари
и у сердца в груди.
Мир
людей.
И над каждым библейское:
«Не укради!..»
Мир дрожит,
будто он искупался
в январской воде.

Надо
жить!
У последней черты.
На последней черте.
Думать всласть.
Колесить, как товарный вагон.
И не красть.

Разве что —
у богов.
Огонь.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спят девочки
Галина и Елена.
Два светлячка.
Две льдинки.
Две невесты.
Тень занавески
выгнулась нелепо.
И кажется, что дышит
занавеска.
Девчонки спят...

А мы с тобою
взглянем
на то,
к чему приглядываться
стоит.
Вот небоскреб,
как градусник, стеклянен.
И лифт внутри его —
как ртутный столбик.
Он лезет вверх.
Потом
летит обратно.
Он мечется.
Он сам с собою спорит.
(Наверно, у больного —
лихорадка.
Наверное, больной
себя не помнит.)

И улицы
дымятся, как порезы.
Бетон дорог
дождинками исколот.
Совсем не зря
холодные компрессы
неслышных облаков
легли на город.

Земля уснула,
сжавшись, как ребенок.
Пронизаны ладошки
бледным светом.
И звезды,
будто стая перепелок,
по небу разбрелись.
А в небе этом
луна повисла
сочно и нахально.
Девчонки спят,
смешно развесив губы.

Как я хочу,
чтобы от их дыханья
вдруг запотели
все стереотрубы!
Вдруг запотели
стекла перископов
и оптика
биноклей генеральских!..

Девчонки спят.
Трава растет в окопах.
Тоскует лес
о предрассветных красках.
И тишина похожа на подарок.
И призрачно
березы холодеют...
Пусть окна
стратегических радаров
от детского дыханья
запотеют!..

Пророчит ранний мох
грибное лето.
Спят девочки
Елена и Галина.
Забывшись на мгновенье,
спит планета.
И руки
сложены,
как для молитвы.

***

А было так, что мы,
забыв часы дремотные
и закатав штаны,
тянули сети мокрые.
Тянули,
будто зуб.
И крякали простуженно.
Тянули,
будто в суд
опасного преступника.
Мы жили в этот миг
мечтой,
почти провиденьем,—
как под нестройный крик
на берег
реку вытянем!
Она зальет луга,
заполнит рвы и рытвины.
И в струнах
ивняка
забьют хвостами
рыбины.

А коль не хватит сил
тянуть,—
чего бахвалимся? —
река
разверзнет синь,
и мы в нее
провалимся.

Уйдем
мальков пасти.
И, чертыхаясь тягостно,
по нашему пути
покатятся,
потянутся
прибрежные леса,
дома в дыму смородинном,
заблудшая коза
и парень с мотороллером.

Тянули мы,
пока
все было
по-хорошему...
Потом —
текла река.
И на песке взъерошенном,
натуженно дыша,
по-рыбьи
тихо охая,
лежали два ерша.
И мы лежали около.

А в небе
солнце шло.
Тяжелое.
Значительное.
И жгло,
как сквозь стекло
увеличительное.

ЧЕ

Мотор перегретый натужно гудел.
Хозяйка, встречая, кивала...
И в каждой квартире
с портрета глядел
спокойный Эрнесто Гевара.

Желанья,
исполнитесь!
Время,
вернись!
Увидеться нам не мешало б...
Вы очень похожи,
товарищ министр,
на наших
больших комиссаров.
Им совесть велела.
Их горе зажгло.
Они голодали и стыли.
Но шли с Революцией
так же светло,
как реки
идут на пустыню.
Была Революция личной,
живой,
кровавой
и все же —
целебной.
Они называли ее
мировой!
Что значило —
великолепной.

— Товарищ Гевара,
песчаник намок
под грузным
расстрелянным телом.

— Я сделал,
что мог.
Если б каждый,
что мог,
однажды решился
и сделал.

— Но жизнь
не меняется!
Снова заря
восходит, как будто впервые.
А что, если вправду
погибли вы
зря?

— Пускай разберутся
живые.

— Но вам
понесут славословий венки,
посмертно
пристроятся рядом.
И подвигом
клясться начнут леваки.

— Вы верьте делам,
а не клятвам.

— А что передать
огорченным бойцам,
суровым и честным, как Анды?

— Скажите:
по улицам
и по сердцам
проходят сейчас баррикады.

— А что, если вдруг
автомат на плече
станет
монетой разменной?

Нахмурился Че.
Улыбнулся Че.
Наивный
Че.
Бессмертный.

***

На многих новых домах в Париже долгие годы висит надпись: «Продаются квартиры».

Жители
пустых квартир,
я вас помню и поныне.
Вечерами проливными
к вам я в гости
приходил.
Собиралась
вся семья
у гудящего камина.
Радость будничного мира
впитывал по капле я...
Жители
пустых квартир.
Был огонь теплее шубы.
Старый Жан,
вздыхая шумно,
разговоры заводил.
Отправлял он внуков спать.
Письма отряхал от пыли...
О, друзья, конечно,
были!
Были.
Будут ли опять?
Может —
будут.

Может —
нет...
Сходится гора с горою.
Ближе земляка
порою
выходец
с других планет...
В стекла барабанит дождь.
Зря над мудростью смеешься.
Сказано:
желай —
добьешься!
Сказано:
ищи —
найдешь!
Что найдешь?
Найдешь покой...
Впрочем,
что ж это такое:
состояние покоя?
Сон,
смешавшийся с тоской?
Если так —
других лови!
Лги другому вдохновенно...
Больше, чем любовь,
наверно,—
ожидание любви!..
Может,
он перехватил?..
Угли шебуршат в камине.

Все мы где-то
в этом мире —
жители
пустых квартир.

ХИППИ

Мы —
хиппи.
Не путайте с «хеппи».
Не путайте с нищими.
Денег не суйте...
Не спят
полицейские кепи
в заботах
о нашем рассудке.
Ничьи мы.
Не ваши,
не наши.
Ничьи мы.
Как мокрые ветры.
Прически —
по виду монашьи.
Но мы не монахи.
Хотите —
проверьте.
Ничьи мы.
Как пыль на дороге.
Как шорох прибоя,
картавы.
Нас греют
девчонки-дотроги,
покорные,
будто гитары.
Потейте!
Бумагу марайте.
За теплое горло берите знакомо.

Плевать нам
на ваши морали!
Продажные
ваши законы!
Плевать нам
на то, что встречаете бранно!
На то, что шагаете мимо.
И если вы — мир,
то тогда мы —
приправа
для этого пресного
мира.
Мы, как в драгоценностях,—
в росах.
Мы молимся водкам
и травам.
Босые —
средь ваших «роллс-ройсов».
Назло вам.
На смех вам.
На страх вам.
Сдавила бетонная бездна.
Асфальт отутюженный высох...
Мы —
вызов.
А может быть,—
бегство.
А может быть, сразу —
и бегство.
И вызов.

Монреаль

МАЧУ-ПИКЧУ

Есть в перуанских Андах вершина. А на ней — развалины города. Развалины последней столицы империи инков.

Мачу-Пикчу...
Глаза закрываю,
шепчу:
«Мачу-Пикчу...»
Мы —
ослепшие
ждали тебя,
будто пума — добычу.
Мы стремились к тебе,
как забытый наследник
к престолу.

Было душно и холодно.
Гордо.
И очень просторно.
Мачу-Пикчу
накатывалась
и к вискам подступала.
Мачу-Пикчу
покачивалась,
бесконечностью пахла.
Пахла прерванной стройкой.
И мокрой землей.
И лугами...
Жили здесь
великаны.

Работали здесь
великаны.
Я не знаю —
когда.
И зачем.
Знаю только, что жили.
Ливни их забавляли.
А землетрясенья смешили.
И когда надвигались на город
тугие лавины,
то они их, дурачась,
в литые ладошки
ловили.
Над горами вставали закаты
из кованой меди.

День для них проходил.
А для нас он равнялся
бессмертью.
Жили здесь
великаны.
Размашисто жили.
Разгульно!
Нам —
полжизни прожить.
А для них это —
меньше секунды.
Жили здесь
великаны...

С того потрясенного года
плещет море,
соленое
от великаньего пота.
Угловатые айсберги
трутся о темные камни.
Это —
слезы детей великаньих.
И жен великаньих.
В них теперь отражаться рассвету
и гаснуть закату...
Великаны потомкам своим
загадали загадку.
И куда-то ушли.

Улетели куда-то.
Уплыли...

Но в спокойствии стен,
но в любой неотесанной глыбе,
в клочковатом тумане,
в журчанье ручьев по террасам
до сих пор существует,
не меркнет
непонятый разум.
Он остался как вечное эхо.
Как руки у горла.
Лишь ему одному
подчиняются сонные горы.
Мы под ними —
со всем, что в нас есть —
мельтешащим,
посконным,
в состоянье микробов,
которые —
под микроскопом.

Мачу-Пикчу...
Глаза закрываю,
шепчу:
«Мачу-Пикчу...»
Мы —
оглохшие —
ждали тебя,
будто пума — добычу.
Ты взглянула в упор
на смешных,
суетливых козявок...
И закуталась в облако —
ждать
настоящих хозяев.

СТАРЫЙ ИНДУС

Он сидит —
худой,
как ноябрьский куст,—
посреди суеты
и новейших веяний.
Он жует губами,
будто на вкус
пробует
каждое из мгновений.
Рядом —
радужный вихрь
случайных мазков...
В стариковских глазах
глубоко и пустынно.
За его спиною
столько
веков,
что ему перед будущим
даже стыдно!

Бомбей

РАЗМЫШЛЕНИЯ СЛОНА, КАТАЮЩЕГО ТУРИСТОВ ПО БОМБЕЙСКОМУ ЗООПАРКУ

Три раза я в теченье дня
сырой морковью хрупаю...
Желаете
нанять меня?
Тогда
платите рупию!
Явлюсь из ваших детских снов.
Доставлю счастье полное.

Жалею очень я
слонов,
которые свободные...
Конечно, там еда
свежей,
там нет зловоний города.
Конечно,
мочки их ушей
железом не проколоты.
Не спиливает им никто
их бивни драгоценные.

Слонов жалею я
за то,
что жизнь у них —
бесцельная.
Погонщик — мне,
а им — вожак
начальником приходится.

И говорят,
что сам раджа
порой
на них охотится...
Как им, наверно, в темноте
пустынно и нерадостно!

За мной охотятся
лишь те,
кто —
с фотоаппаратами.
К тому ж гордиться я могу
накидкою красивою,
когда за мелкую деньгу
фотографам позирую.
Гремит,
позванивает
цепь.
Сношу —
заменят новенькой.

Зато есть цель.
И эта цель
близка,
как дверь слоновника.

ТАДЖ-МАХАЛ

Тадж-Махал — гробница, построенная императором Индии Шах-Джеханом в память о своей любимой жене Мумтаз-Махал. Имя зодчего неизвестно.

Он —
белее белого,
праздничнее празднества.
Вымахнув над бедами,
высотою
дразнится.
К небесам из марева
сладко
лезет
купол,
свысока посматривая
на индийских кукол.
Сладкие орнаменты,
сладкая природа
ссорятся с пернатыми
тихо и нестрого.
Приторно,
незагнанно
зной плывет по стенам...
Тадж-Махал
из сахара,
очевидно, сделан.
От такого качества,
несмотря на тление,

слаще новых
кажутся
прошлые столетия.

Люди
пола слабого,
женский век не кончен.
Ах, как вы до сладкого
и сейчас
охочи!
Разукрасив личики
грозно и эффектно,
ах, как вы мурлычете
от речей конфетных!
Делитесь обидами.
Но —
теперь и раньше —
кажетесь
рабынями,
правите
мирами.
Медлите,
торопите
гордо и нахально.

Вы нам
глазки строите.
Мы вам —
Тадж-Махалы.

КОЕ-ЧТО О ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ

Бастует Лувр,
стальные двери стиснув.
Бастует мир карманников
и сыщиков.
Бастуют звезды
дорогих стриптизов
и продавцы
дешевых магазинчиков.
Бастуют кони.
Ипподром пустует.
Бастует банк
и центрифуги прачечных.
Рад гимназист:
учителя бастуют!
Угрюм пижон:
пропал бензин в заправочных.
В крутых цехах
темно бастуют тигли.
Над министерством
флаг повис
расслабленно.
Бастуют почтальоны,
и притихли
в подвалах почт
любовные послания.
Метро бастует,
сжавшись недоверчиво.
На тротуарах мусора —
навалом!

Бастует солнце.
Дождь
заладил с вечера —
перемывает косточки бульварам.
Лежат листовок слипшиеся патлы.

...Работает
особая полиция.
Работают кафе,
кинотеатры,
бармены,
проститутки
и политики.

Париж

НОСТАЛЬГИЯ

Ностальгия бывает
по дому.
По Уралу,
по Братску,
по Дону.
По пустыням и скалам белесым,
невозможно прозрачным березам.
По степям, где метели тугие...

У меня
по тебе
ностальгия.
Ностальгия
по каждому вздоху.
Ностальгия
по тихому стону.
По твоим просыпаньям тяжелым.
По глазам и плечам обнаженным.
По мгновеньям, когда ты со мною.
По ночному бессонному зною.
По слезам
и словам невесомым.
По улыбке
и даже по ссорам.
По губам,
суховатым с морозца...
Я,
решив с ностальгией бороться,
уезжаю!
Штурмую платформы...

Но зачем-то
ору в телефоны!
Выхожу из себя от восторга,
дозвонившись из Владивостока.
Ошалев от колесного писка,
сочиняю длиннющие письма.
Умоляю тебя:
«Помоги мне!
Задыхаюсь
от ностальгии!..»
Ты молчишь.
Ты спасать меня
медлишь...

Если вылечусь —
тут же
заметишь.

ДЖОКОНДА

Как много
эта женщина
знает про меня!..

Я чувствую:
скрежещуще
закрылась западня.
У ветра
вкус ирисочный.
Река черна,
как морс.
Садится иней
призрачный
на мой бесстыдный мозг.
Где
неживые заросли
непроходимых трав.
Где глухо и безжалостно
ворочается страх.
Где за полночь
радения
щемящи,
как вокзал.
Где вдруг хлестнут
видения,
как бритвой по глазам!..
Все это ей прошепчено.
Расхвастано звеня...

Как много
эта женщина
знает про меня!..

Сады от вьюг воспрянули,
беснуются коты...
И мы опять
расправили
павлинии
хвосты.
То свадьбой,
то поминками
врезаются года.
А мы о ней —
с подмигами.
Красавица,
айда!
Айда! —
в тугую патоку.
Айда! —
на сквозняки.
Скорей —
уже распахнуты
ночные кабаки.
Все это наша вотчина,
пока не сгинул
век!..

Она неразговорчива.
Она глядит
поверх.
Беспомощна.
Торжественна.
Трава судьбы горчит...

Как много
эта женщина
знает!..
И молчит...

ШВЕЙЦАРСКИЕ КОРОВЫ

Не зная о добре,
не понимая
зла,
вышагивают
сыто и твердо.
На шеях у коров
висят колокола —
огромные
звенящие
ведра...
Ступают на траву,
себя не потеряв,
как генералы в лентах и звездах.
И дышат широко,
и буйствует в ноздрях
валютный,
знаменитейший
воздух...
Мы слышим странный звон
с утра
и дотемна.
Колокола гудят беспрестанно.
Ты думаешь: набат?
Восстание?
Война?
Нет.
Это возвращается стадо.
Молочные моря.

Грядущие сыры.
Над ними Альпы —
будто корона,

...К заутрене звонят.
А может быть,
с горы
идет
большая корова.

СЛУШАЯ РАДИО

Земля
с пустынной жаждой городов,
с капелью,
колотящейся о камни,
с раздумьем океанов и прудов,
с ползущими на небо ледниками.
Земля
с пунцовым откровеньем зорь,
земля
в переплетенье снежных линий,
усыпанная зябкою росой,
обнявшая тропические ливни.
Земля
со всевозможною
водой:
речушками,
криницами,
морями,
с величественным паром над плитой.
Земля
с теплом Пицунды
и Майами,
с глотком вина в гортани пастуха,
с ангарским бегом,
с медленностью Вислы —
так страшно,
так немыслимо
суха,
что может вспыхнуть
от случайной искры!

ПОСВЯЩЕНИЕ

(Поэма)

«ПОЕХАЛИ!..»

Мне нравится,
как он сказал:
«Поехали!..»
(Лихой ямщик.
Солома в бороде.)
Пошло по свету отзвуками,
эхами,
рассказами,
кругами по воде.
...И Главного конструктора знобило.
И космодром был
напряженно пуст.
«Поехали!» —
такое слово
было.
Но перед этим прозвучало:
«Пуск!»
...И сердце билось не внутри,
а возле.
И было незнакомо и смешно.
А он ремень поправил,
будто вожжи,
и про себя губами чмокнул:
«Но-о-о!..»
И широко,
размашисто,
стотонно,

надежд не оставляя
на потом,
с оттяжкой
по умытому бетону
вдруг стегануло
огненным кнутом.
И грохнул рев!
И забурлила ярость!
Закрыла небо
дымная стена.
Земля
вогнулась чуть
и,
распрямляясь,
ракету подтолкнула.
А она
во власти
неожиданного бунта,
божественному куполу под стать,
так отрывалась от земли,
как будто
раздумывала:
стоит ли
взлетать?..
И все-таки она решила:
«Надо!..»
Запарена,
по-бабьи — тяжела,
сейчас
она
рожала
космонавта!
Единственного.
Первого...

Пошла!
Пошла, родная!..

Дальше было просто.
Работа.
И не более того.
Он медлил,
отвечая на вопросы,
не думая,

что все слова его
войдут в века,
подхватятся поэтами,
забронзовев,
надоедят глазам.

Мне нравится,
как он сказал:
«Поехали!..»
А главное:
он сделал,
как сказал!

МЫ ВЫРАСТАЕМ

Скрипит под ветром печальный ставень.
В углу за печкой таится шорох...
Мы вырастаем,
мы вырастаем
из колыбелей
и распашонок.
Огромно детство.
Просторно детство.
А мы
романы Дюма листаем.
И понимаем,
что в доме —
тесно.
Мы вырастаем.
Мы вырастаем...
Укоры взрослых
несутся следом.
Мы убегаем,
как от пожара.
Нам двор —
держава!..
Но как-то летом
мы замечаем:
мала держава.
Нас кто-то кличет
и что-то гонит
к серьезным спорам,
к недетским тайнам.

Нас принимает
гигантский город.
Мы
    вырастаем!
Мы
    вырастаем!..
А город пухнет.
Ползет, как тесто.
А нам в нем тесно!
И мы,
пьянея,
садимся в поезд,
где тоже —
                тесно.
А в чистом поле —
еще теснее...
Мы негодуем,
                недосыпаем,
глядим вослед
журавлиным стаям.
На мотоциклах,
                пригнувшись, шпарим.
Мы
    вырастаем!
Мы
    вырастаем!..
Мы трудно дышим
от слез и песен.
Порт океанский
                зовем
                    калиткой.
Нам Атлантический
слишком тесен!
Нам тесен
            Тихий, или Великий!..
Текут на север
                густые реки.
Вонзились в тучу
                верхушки елей.
Мы вырастаем!..

Нам тесно
            в клетке
меридианов и параллелей.

А ОН...

Над суматошными кухнями,
над
лекцией
«Выход к другим мирам».
Вашей начитанностью,
лейтенант.
Вашей решительностью,
генерал.
Над телеграммами, тюрьмами,
над
бардом,
вымучивающим строку.
Над вековыми костяшками нард
в парке
обветренного Баку.
Над похоронной процессией,
над
сборочным цехом
искусственных солнц,
барсом,
шагнувшим на розовый наст,
криком:
«Уйди!..»
Сигналами:
«SOS!..»
Над запоздалыми клятвами,
над
диктором,
превозносящим «Кент»,
скрипом песка,
всхлипом сонат,
боеголовками дальних ракет,
над преферансом,
над арфами,
над...

ТРАЕКТОРИЯ

Ушла
ракета!..
Мы вздохнули
и огляделись воспаленно.

Но
траектория полета
все ж началась
не в Байконуре.
Откуда же тогда,
откуда?
От петропавловского гуда?
От баррикад на Красной Пресне?..
Нет,
не тогда,
а прежде.
Прежде!..
Тогда откуда же,
откуда?
От вятича?
Хазара?
Гунна?
От воинов
Игоревой рати?..
Нет,
даже раньше!
Даже раньше!..
Она в лесных пожарах
грелась,
она волхвов пугала,
снизясь...
Такая даль,
такая древность
и археологам
не снилась.
Она пронизывала степи,
звенела
на шеломах курских,
набычась,
подпирала стены,
сияла
в новгородских кузнях.
Та траектория полета,
презрев хулу,
разбив кадила,
через
поэмы и полотна,
светящаяся,
проходила!

Она —
телесная,
живая.
И вечная.
И вечевая.
И это из нее
сочится
кровь пахаря
и разночинца...
Кичатся
знатностью бароны,
а мы
довольствуемся малым.
Мы —
по бумагам —
беспородны.
Но это
только —
по бумагам!..
Не спрашивай теперь,
откуда
в нас
это ощущенье
гула,
земное пониманье
цели...
Бренчат разорванные
цепи!

ГРЯЗНЫЙ ШЕПОТОК

Из фильмов
мы предпочитаем
развлека-
тельные.
Из книжек
мы предпочитаем
сберега-
тельные.
Сидим в тиши,
лелеем блаты
подзавядшие.

Работу любим,
где зарплата —
под завязочку.
Мы презираем
в хронике
торжественные омуты...
Все космонавты —
кролики!
На них
проводят
опыты!

В быту,
слегка подкрашенном
научными
названьями,
везет
отдельным гражданам...
Чего ж
про них
названивать?!

Они ж
бормочут тестики
под видом испытания.
Они ж
в науке-технике —
ни уха,
ни... так далее...

Их интеллект сомнителен.
В их мужество не верится...
Живые заменители
машин
над миром вертятся!

Не пыльное занятие:
лежишь,
как в мягком поезде.
Слетал разок и —
на тебе!

И ордена!
И почести!
Среди банкета вечного,
раздвинув
глазки-прорези,
интересуйся вежливо:

«А где тут
сумма —
прописью?..»
Живи себе,
помалкивай,
хрусти
котлетой киевской
иль ручкою
помахивай:
«Привет, мол,
наше с кисточкой!..»

А ОН...

Над запоздалыми клятвами,
над
диктором,
превозносящим «Кент»,
скрипом песка,
всхлипом сонат,
боеголовками дальних ракет.
Над затянувшейся свадьбою,
над
вежливым:
«Да...»,
вспыльчивым:
«Нет!..»
Над стариком,
продающим шпинат,
над аферистом,
скупающим нефть.
Над заводными игрушками,
над
жаждой
кокосовых пальм
и лип.
Над седоком твоим,
Росинант.
Над сединой твоею,
Олимп.
Над нищетой,
над масонами,
над...

О НЕВЕСОМОСТИ

Мы
те же испытанья
проходим.
Тяжелыми дверями грохочем.
Вступая в духоту барокамер,
с врачихой молодой
балаганим.
Мы
в тех же испытаньях
стареем.
Мы верим людям,
птицам,
деревьям.
Бросаемся,
дрожа от капели,
то — в штопоры,
то — в мертвые петли.
Высокое давленье
коварно...
Живая кожа —
вместо скафандра.
И нету под рукой,
как нарочно,
надежного глотка
кислорода...
Нас кружат
центрифуги веселья,
мы глохнем
в полосах невезенья.
И ломимся в угар перегрузок.
И делимся на храбрых и трусов,
пройдя сквозь похвалы и дреколья...
Другое непонятно.
Другое...
Как это?
Слово,
яснее полдня,
слово,
свежей, чем запах озона,
и тяжелее ночного боя,—
вдруг
невесомо?

Как это?
Слово,
застывшее важно,
слово,
расцвеченное особо,
слово,
обрушивающееся, как кувалда,—
вдруг
невесомо?
Как это?
Слово,
скребущее горло
и повторяющееся бессонно,
слово,
которое тверже закона,—
вдруг
невесомо?
...Вновь тебя будет
по каждому слогу
четвертовать
разъяренная совесть.
Пусть не придет
к настоящему
слову
даже мгновенная
невесомость!
...Как мне дожить
до такого дня,
ценою
каких седин,
чтобы у жизни
и у меня
голос был
один?

ЧУЖОЙ БИЛЕТ

Земля —
в ознобе
телетайпных лент.
Не ведаю,
куда глядит начальство...
Мне кажется:

я взял
чужой билет.
Совсем другому
он
предназначался.
Со мною
колобродить до утра
готовы,
про чужой билет не зная,
актеры,
космонавты,
доктора
с высокими, как горы,
именами...
Растерзана гудками тишина,
сиреневый дымок летит по следу.
И только мама верит
да жена,
что еду я
по своему билету.
А я
святым неверьем взят в кольцо.
С большой афиши,
белой,
будто полюс,
испуганно глядит
мое
лицо,
топорщится
подделанная подпись.
И мне то тяжело,
то трын-трава,
чужие голоса
в меня проникли.
В знакомых песнях
не мои
слова!
Надписываю я
чужие
книги!
Чужой билет.
Несвойственная роль.
Я тороплюсь.
Я по земле шатаюсь...

И жду:
вот-вот появится
контроль.
Тот поезд
отойдет.
А я останусь.

А ОН...

Над заводными игрушками,
над
жаждой
кокосовых пальм
и лип.
Над седоком твоим,
Росинант.
Над сединой твоею,
Олимп.
Над телескопами Пулкова,
над
скромным шитьем
полевых погон.
Чанами с надписью:
«Лимонад».
Чашкою с запахом:
самогон.
Над озорными базарами,
над
сейфом,
который распотрошен.
Над городами
Торжок и Нант,
над именами
Иван и Джон.
Над ресторанной певичкою,
над...

ОДИНОЧЕСТВО

Я славлю
одиночество моста,
шальное одиночество
печурки.

Я славлю
одиночество гнезда
вернувшейся из-за морей
пичуги...
(А сам —
в игре с огнем,
тревожным,
переменчивым,—
живу
случайным днем,
живу
мелькнувшим месяцем.
Работает
в боку
привычная
механика.
А я
бегу,
бегу.
Бледнею.
Кровью харкаю.
Смолкаю,
застонав.
Жду
вещего прозрения
то в четырех
стенах,
то в пятом
измерении...
Разъехались друзья.
Звонят,
когда захочется.
У каждого
своя
проверка
одиночеством.)
Я славлю
одиночество письма,
когда оно
уже
почти нежданно.
Я славлю
одиночество ума
ученого

по имени
Джордано.
(А сам,
припав к столу,
пью горькое
и сладкое.
Как будто
по стеклу
скребу
ногтями слабыми.
Не верю
никому,
считаю дни
до поезда...
И страшно
одному,
а с кем-то рядом —
боязно.
В постылый дом
стучу,
кажусь
чуть-чуть заносчивым.
«Будь проклята,—
кричу,—
проверка
одиночеством!..»)
Я славлю
одиночество луча
в колодце,
под камнями погребенном.
Я славлю
одиночество врача,
склонившегося
над больным ребенком.
(Неясная
цена
любым
делам и почестям,
когда идет она —
проверка
одиночеством!..
Пугать не пробуй.
Денег не сули.

Согнись
над неожиданною ношей.)
Я славлю
одиночество Земли
и верю,
что не быть ей
одинокой!

А ОН...

Над озорными базарами,
над
сейфом,
который распотрошен.
Над городами
Торжок и Нант,
над именами
Иван и Джон.
Над баскетбольными матчами,
над
танкером,
облюбовавшим порт.
Над шелестеньем оленьих нарт,
мягкими криками:
«Поть!..
Поть!..»
Над арабеском Бессмертновой,
над
фразой,
дымящейся на устах.
Монументальностью колоннад
и недоверьем
погранзастав.
Над устаревшими твистами,
над
верностью
за гробовой доской.
Нервами,
будто манильский канат.
Темным вином.
Светлой тоской.
Над муравьями,
над лазером,
над...

МЕРТВЫЕ СМОТРЯТ В НЕБО

У развилок
холодных,
с каждой смертью
старея,—
мертвых
так и хоронят,
чтобы в небо
смотрели.
Посредине планеты
в громе
туч грозовых
смотрят мертвые
в небо,
веря в мудрость
живых...
Бродят реки в потемках.
И оттуда,
со дна,
смотрят парни
в буденовках
крутого сукна.
Те,
которые приняли
пулеметный горох.
Над зеленою Припятью
оборвали
галоп.
Задохнулись от гнева,
покачнулись в седле...
Смотрят мертвые
в небо.
Как их много
в земле!..
Тех,
кто пал бездыханно
на июньской заре.
Тех,
кто умер в Дахау.
Тех,
кто канул в Днепре...
Бредя ролью трубастой,

будто лука
изгиб,
смотрит
Женька Урбанский,
удивясь,
что погиб...
Ливень
пристани моет,
жирно хлюпает грязь...
В небо
мертвые
смотрят.
Не мигая.
Не злясь...
Ах, как травы душисты!
Как бессовестна
смерть!..
Знаю:
жить
после жизни
надо тоже
уметь.
Равнодушно
и немо
прорастает былье...

Смотрят мертвые
в небо,
как в бессмертье
свое.

ЧТО НАС ДЕРЖИТ

Колдуя
и клянясь,
среди обычных сутолок
земля
вцепилась в нас,
крича от страшных
судорог.
Века
висят над ней,
кипят самосожжения.

И все-таки
сильней
земного
притяжения
то, что в дыму костра,
треща,
темнеет окорок,
то, что плывет
жара,
похожая на обморок.
То, что струится
дождь,
то, что лопочут
голуби,
то, что смеется
дочь,
увидя лошадь
в городе.
Что шмель
к цветку приник,
что паутина —
сказочна.
И что течет
родник
стеклянно
и загадочно.
То, что художник —
слеп,
а карусели
вертятся.
И то, что свежий хлеб
на полотенце
светится.
Что на гончарный круг
ложатся пальцы чуткие.
И что приходит
друг,
необходимость
чувствуя.
Что веренице
дней
не будет завершения...
Во много раз
сильней

земного притяжения
то, что
с тоской в глазах,
задумчиво
и жертвенно,
ни слова не сказав,
тебя целует
женщина.
То, что молчит струна,
звучит
бумага нотная.
И то, что есть
она —
Земля —
все время
новая!
С проклятьями и страхами.
С едою и питьем...
И то, что мы
уйдем
в нее —
такую странную.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Значит,
все-таки есть она —
глупая смерть.
Та,
которая вдруг.
Без глубинных корней.
За которой оркестрам
стонать и греметь.
Глупо.
Глупая смерть...
А какая умней?
А в постели умней?
А от пыток умней?
А в больнице?
В убожестве
краденых дней?
А в объятьях мороза
под скрипы саней?

Где
умней?
Да и как это можно:
умней?!
В полыханье пожара?
В разгуле воды?
В пьяной драке,
где пастбище делит межа?
От угара?
От молнии?
От клеветы?
От раскрашенной лжи?
От слепого ножа?..
Смерть
ничем не задобришь,
привыкла к дарам.
Вот Гастелло
летит с перекошенным ртом.
Он
при жизни
пошел на последний таран!
Все при жизни!!!
А смерть наступила
потом...
Горизонт покосившийся.
Кровь на песке.
И Матросов
на дзот навалился плечом.
Он
при жизни
подумал об этом
броске!
Все при жизни!!!
И смерть
тут совсем ни при чем...
Голос радио.
Падает блюдце из рук.
Прибавляется жителей
в царстве теней.
Значит,
глупая смерть —
та,
которая
вдруг?

Ну, а если не вдруг?
Постепенно?
Умней?!
Все равно, ты ее подневольник
и смерд!
Все равно, не поможет твое:
«Отвяжись!»
Впрочем,
если и есть она —
глупая смерть,—
это все-таки лучше,
чем глупая
жизнь.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Свет
Вечного огня,
жар
вещего костра,
тебе рассвет —
родня.
Тебе заря —
сестра.
Гудящий
над строкой,
не сказанной
никем,
мятущийся огонь,
ты для меня —
рентген!
Рентген —
пока дано
держать в руках
перо,
когда
черным-черно,
когда
белым-бело...
Восстав
из-под земли
в пороховом
дыму,

погибшие
пришли
к подножью твоему.
Сквозь дальние огни,
сквозь ржавые бинты
в упор
глядят
они,
как полыхаешь
ты...
Снега идут сквозь них.
Года идут сквозь них...
Ты правильно возник!
Ты вовремя возник!
Их прошлый
непокой,
несбывшийся
простор
сейчас в тебе,
огонь.
Сейчас в тебе,
костер...
Не станет пусть
в веках
ни уголка,
ни дня,
куда б
не проникал
свет
Вечного огня!..
Я знаю,
что хочу.
Я,
голову склоня,
гляжу
в глаза
огня
и медленно шепчу:
всем
сбившимся
с пути,
всем
рухнувшим
с коня

дорогу освети,
свет
Вечного огня.
Замерзших отогрей.
Оружье закали.
К наивным
будь добрей.
Зарвавшихся
спали.
Не верю я
пока,
в переселенье душ.
Но ты —
наверняка! —
в огне
ракетных
дюз.
На кончике пера.
На утреннем
лугу...
Свет
Вечного костра,
мы у тебя
в долгу.
В долгу за каждый вдох
и прежде,
и теперь...
И если я тебе
не выплачу свой долг,
тогда убей меня
и прокляни меня,
жар
вещего костра.
Свет
Вечного огня.

А ОН...

Над устаревшими твистами,
над
верностью
за гробовой доской.

Нервами,
будто манильский канат.
Темным вином.
Светлой тоской.
Над зацветающей яблоней,
над
самоубийцей
с вечным
пером,
над повтореньем робинзонад,
взором коров,
блефом корон.
Над восковыми фигурами,
над
парусом,
вечно просящим бурь,
взрывами
чавкающих гранат,
плеском стрижей,
посвистом пуль.
Над маяками,
над школами,
над...

О НЕЗАМЕНИМЫХ

Кто-то заплакал.
Кто-то заохал.
Бодрые песни
лезут из окон.
И поговорка
вновь торжествует:
«Незаменимых
не существует».
Трусы,
герои,
прачки,
министры —
все заменимо.
Все заменимы.
Все
заменимо!

Действуя четко,
сменим давайте
бога
на черта.
Шило
на мыло.
Пешку
на пешку.
(Это привычно.
И неизбежно.)
Сменим давайте
горы
на поле.
Зава
на зама.
Зама
на пома.
А панихиду —
на именины.
Все заменимо.
Все
заменимы.

Значит, напрасно
крестили нас в загсах.
Зря мы считали
годы без засух.
Зря утопали
в пахоте вязкой.
Бредили вязью
старославянской.
Зря мы пудовым
кланялись щукам.
Зря композитор
тему нащупал.
Зря архитектор
кальку изводит.
Зря над могилами
матери
воют.
Зря нас дорога
однажды сманила.
Все
заменимы.

Все
заменимо!!
Я наполняю легкие
гневом!
Я вам клянусь
пошатнувшимся небом:
лжет
поговорка!
Врет
поговорка!
Незаменимо
катится Волга.
Незаменимы
ветры над взморьем.
Незаменимы
Суздаль
и Смольный.
Незаменимы отсветы флага.
Незаменима
добрая фляга.
Зерна морошки.
Тень от платана.

Незаменим
академик Ландау.
Незаменима
и окрыленна
резкость
конструктора
Королева!..

Даже артисты цирков бродячих,
даже стекольщик,
даже жестянщик,
кок,
над которым не светятся нимбы,—
незаменимы.
Незаменимы.

Каюсь,
но я признаю неохотно:
жизнь
не окончится
с нашим уходом.

Внуков,
чей путь еще даже не начат,
незаменимые бабушки
нянчат.
Знаю:
родятся под Омском
и Тулой,
в горной глуши,
за сиреневой тундрой,—
знаю:
взойдут на асфальтовых
нивах
новые тысячи
незаменимых!
Незаменимых,
в деле и силе.
Незаменимых,
будто Россия.
Пусть —
знаменитых,
незнаменитых —
незаменимых.
Незаменимых!

1969

ПЕСНИ
1964—1970

ДАЛЬ ВЕЛИКАЯ

Даль великая,
даль бескрайняя
за околицей и в судьбе.
Я тебе, земля,
низко кланяюсь,
в пояс кланяюсь тебе.
Мой родимый край,
место отчее,
ты — и праздник мой,
и броня.
Память общая
и песня общая
у мой земли
и у меня.

Я качал тебя
на своих руках,
то кляня судьбу, то моля.
Друг без друга нам
не прожить никак.
Будем дальше жить, земля.
Мой родимый край,
место отчее,
ты — и праздник мой,
и броня.
Горе общее
и счастье общее
у моей земли
и у меня.

В свой последний час
я вздохну, скорбя,
и на жизнь свою оглянусь.
Малым зернышком
упаду в тебя,
спелым колосом вернусь.
Мой родимый край,
место отчее,
ты — и праздник мой,
и броня.
Сердце общее
и солнце общее
у моей земли
и у меня.

КАК РОЖДАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ

Горит закат вечерний,
большой, как знамя.
И звезды невесомо
встают над нами.
И каждый,
кто кончает свой путь бессонный,
становится посмертно
звездой высокой.

На бруствере окопа
солдат споткнется,—
и сразу же над полем
звезда зажжется.
Она взойдет над миром
светло и строго,
по ней усталый путник
найдет дорогу.

А мы шагаем дальше.
Мы есть.
Мы будем.
Дано такое право
траве и людям.
Горит закат вечерний,
большой, как знамя.
И звезды невесомо
встают над нами.

Они, изведав счастье
и боль изведав,
глядят глазами наших
отцов и дедов.
Глядят, благословляя.
Плывут, алея.
И оттого на свете
нам жить светлее!

ЕСЛИ Б КАМНИ МОГЛИ ГОВОРИТЬ

Если б камни могли говорить
под летящими вдаль облаками,
рассказали б о мужестве
камни,
если б камни могли говорить.

С неба смотрят звезды, не мигая.
Тонет полночь в медленной волне...
А над Брестом
тишина такая,
будто мир оглох на той войне.

На границе родимой земли
вихревые сирены завыли.
Встали мертвые рядом с живыми
и, обнявшись, в бессмертье ушли.

Трескался бетон, изнемогая,
людям было тяжелей вдвойне...
А над Брестом
тишина такая,
что нельзя не вспомнить о войне.

Было каждое сердце как Брест!
Под огнем навесным, перекрестным
враг нарвался на тысячу Брестов,
билось каждое сердце, как Брест!

Сердце билось, боль превозмогая,
даже стены плавились в огне...

А над Брестом
тишина такая,
будто мир оглох на той войне.

Если б камни могли говорить
под летящими вдаль облаками,
рассказали б о мужестве
камни,
если б камни могли говорить.

ТОВАРИЩ ПЕСНЯ

Остался дом за дымкою степною,
не скоро я к нему вернусь обратно.
Ты только будь, пожалуйста, со мною,
товарищ Правда,
товарищ Правда!

Я все смогу, я клятвы не нарушу,
своим дыханьем землю обогрею.
Ты только прикажи — и я не струшу,
товарищ Время,
товарищ Время!

Я снова поднимаюсь по тревоге.
И снова бой, такой, что пулям тесно!
Ты только не взорвись на полдороге,
товарищ Сердце,
товарищ Сердце!

В большом дыму и полночи, и полдни.
А я хочу от дыма их избавить.
Ты только все, пожалуйста, запомни,
товарищ Память,
товарищ Память!

ВОСПОМИНАНИЕ О ПОЛКОВОМ ОРКЕСТРЕ

Нам рано на покой.
И память не замрет.
Оркестрик полковой
вновь за сердце берет.

Прости, красавица,
что жизнь пехотная
вновь расставание
сулит тебе.
Не зря начищена
труба походная —
такая музыка
звучит у нас в судьбе!

С ним трудно, как по дну,
сквозь огненную тьму
я шел через войну,
шел к дому своему.

Вновь блещет серебром
оркестрик полковой.
Он, словно вешний гром,
над нашей головой.

Прости, красавица,
что жизнь пехотная
вновь расставание
сулит тебе.
Не зря начищена
труба походная —
такая музыка
звучит у нас в судьбе!

МГНОВЕНИЯ

Не думай о секундах свысока.
Наступит время,
сам поймешь, наверное,—
свистят они,
как пули у виска,
мгновения,
мгновения,
мгновения.

У каждого мгновенья свой резон,
свои колокола, своя отметина.
Мгновенья раздают — кому позор,
кому бесславье,
а кому бессмертие.

Мгновения спрессованы в года,
мгновения спрессованы в столетия.
И я не понимаю иногда,
где первое мгновенье,
где последнее.

Из крохотных мгновений соткан дождь.
Течет с небес вода обыкновенная.
И ты порой почти полжизни ждешь,
когда оно придет,
твое мгновение.

Придет оно, большое, как глоток,
глоток воды во время зноя летнего.
А в общем, надо просто помнить долг
от первого мгновенья
до последнего.

Не думай о секундах свысока.
Наступит время,
сам поймешь, наверное,—
свистят они,
как пули у виска,
мгновения,
мгновения,
мгновения.

ПЕСНЯ О ДАЛЕКОЙ РОДИНЕ

Я прошу,
хоть нена́долго,
грусть моя,
ты покинь меня!
Облаком,
сизым облаком
ты полети к родному дому.
Отсюда к родному дому.

Берег мой,
покажись вдали
краешком,
тонкой линией.
Берег мой,
берег ласковый,
ах, до тебя, родной, доплыть бы!
Доплыть бы, хотя б когда-нибудь.

Где-то далеко, очень далеко
идут грибные дожди.
Прямо у реки,
в маленьком саду
созрели вишни,
наклонясь до земли.

Где-то далеко,
в памяти моей
сейчас, как в детстве, тепло.
Хоть память
укрыта
такими большими снегами.

Ты, гроза,
напои меня
до́пьяна,
да не до́ смерти.
Вот опять,
как в последний раз,
я все гляжу куда-то в небо,
как будто ищу ответа.

Я прошу,
хоть нена́долго,
грусть моя,
ты покинь меня!
Облаком,
сизым облаком
ты полети к родному дому.
Отсюда к родному дому.

ПЕСНИ ИЗ СПЕКТАКЛЯ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

ПТИЦА

Ты куда течешь, речка малая,
доброту свою сохраня?
Там, за далями, за туманами
море синее ждет меня.

Ты чего не спишь, кроха-зернышко,
в глубине земли, в тишине?
Оттого не сплю — чую солнышко.
Значит, вскорости быть весне.

Ты куда летишь, птица быстрая?
Может, я с тобой полечу.
Там, за тучею небо чистое.
Повидать его я хочу.

Я хочу понять небо синее,
высоту его, глубину.
Я взлечу — и там крылья сильные,
крылья добрые распахну!

ВЕРА В ЛЮДЕЙ

На трудных и пугающих дорогах,
вдали от исполнения мечты,
поверь в людей
и близких, и далеких,
и сразу же в себя
поверишь ты!

Снова зовет яростный день!
Нервы гудят натруженно.
Вера в людей,
вера в людей —
главное наше оружие.

Поштучно подлецов считать не будем,
хотя они встречаются в судьбе.
Но если ты
не доверяешь людям,
не станут люди
доверять тебе.

В лицо нам ураганный ветер веет,
куражится метель, а ты держись!
Ты верь в людей,
как люди в солнце верят!
Ты верь в людей,
как люди верят в жизнь!

Снова зовет яростный день!
Нервы гудят натруженно.
Вера в людей,
вера в людей —
главное наше оружие.

ЗАВТРА

Снова над полем
закат распростерт.
Но обязательно
солнце взойдет
завтра!

Ветер свистит,
и метели метут,
но непременно
сады зацветут
завтра!

Люди его
сквозь года пронесли —
слово,
в котором надежда земли:
Завтра!

Брезжит оно
и в тебе, и во мне,
в прожитом дне
и в сегодняшнем дне —
завтра!

Может быть, я не смогу,
не дойду,
может, споткнувшись,
на снег упаду
завтра!

Только я знаю:
наверно, не раз
люди живущие
вспомнят о нас
завтра!

ДВОЕ

Катится солнце по склонам.
И, выполняя свой долг,
даже на камне
холодном
вдруг расцветает
цветок.

Но откуда,
откуда,
откуда
появилось оно —
это чудо?
Непонятное,
очень красивое,
беззащитное
и всесильное.

В вихре летящего века
вдруг обозначился день.
Встретились
два человека
в мире,
где столько людей!

В грохоте, свисте и гари,
в долгом полете Земли
люди
друг друга искали.
Может быть, даже
нашли.

Но откуда,
откуда,
откуда
возникает оно —
это чудо?
Непонятное,
очень красивое,
беззащитное
и всесильное.

МЫ УХОДИМ

Мы уходим, товарищ.
Ты не жди нас обратно.
Мы уходим, растаяв
словно звезды во мгле.
Но останется правда,
большевистская правда,
настоящая правда
после нас
на Земле!

Мы уходим, товарищ.
Словно дым в поднебесье.
Будут степи в цветенье.
Будет небо в заре.
И останется песня,
пусть негромкая песня,
но хорошая песня
после нас
на Земле!

Наше дело продолжат
те, кто встанет за нами.
Им сражаться с врагами,
им качаться в седле.

И останется знамя,
легендарное знамя,
наше красное знамя
после нас
на Земле!

ПЕСНЯ ПАВШИХ В БОЮ

Мы были большими, как время.
Мы были живыми, как время.
Теперь —
мы в легендах прославленных дней.
Теперь —
мы в поэмах и прозе.
Теперь —
мы в граните и бронзе.
Теперь —
мы в безмолвье
могильных камней.

Спасибо за память, потомки.
Спасибо за верность, потомки.
Спасибо за то,
что алеет заря.
Не зря
мы над смертью смеялись!
Не зря
наши слезы и ярость!
Не зря
наши песни!
И клятвы не зря!

А вы оставайтесь живыми.
Прекрасно и долго живыми.
Мы знаем:
дорога у вас не проста.
Но вы —
продолжение наше.
Но вы —
утешение наше.
Но вы —
наша слава.
И наша мечта.

ЗА ТОГО ПАРНЯ

Я сегодня до зари
встану.
По широкому пройду
полю.
Что-то с памятью моей
стало:
все, что было не со мной,
помню.
Бьют дождинки по щекам
впалым.
Для вселенной двадцать лет —
мало.
Даже не был я знаком
с парнем,
обещавшим:
«Я вернусь, мама!..»

А степная трава
пахнет горечью.
Молодые ветра
зелены.
Просыпаемся мы.
И грохочет над полночью
то ли гроза,
то ли эхо
прошедшей войны.

Обещает быть весна
долгой.
Ждет отборного зерна
пашня.

И живу я на земле
доброй
за себя
и за того парня.
Я от тяжести такой
горблюсь.
Но иначе жить нельзя,
если
все зовет меня
его голос,
все звучит во мне
его песня.

А степная трава
пахнет горечью.
Молодые ветра
зелены.
Просыпаемся мы.
И грохочет над полночью
то ли гроза,
то ли эхо
прошедшей войны.

ЭТОТ БОЛЬШОЙ МИР

Ночь прошла,
будто прошла боль.
Спит Земля.
Пусть отдохнет, пусть.
У Земли,
как и у нас с тобой,
там, впереди,
долгий, как жизнь, путь.

Я возьму этот
большой мир,
каждый день,
каждый его час.
Если что-то
я забуду,
вряд ли
звезды
примут нас.

Я возьму
щебет земных птиц,
я возьму
добрых ручьев плеск,
я возьму
свет грозовых зарниц,
шепот ветров,
зимний пустой лес.

Я возьму
память земных верст,

буду плыть
в спелом густом льне.
Там, вдали,
там, возле синих звезд,
солнце Земли
будет светить мне.

Я возьму этот
большой мир,
каждый день,
каждый его час.
Если что-то
я забуду,
вряд ли
звезды
примут нас.

ПРИТЯЖЕНЬЕ ЗЕМЛИ

Как безмерно оно —
притяженье Земли,
притяженье полей
и печальных ракит,
всех дорог,
по которым мы в детстве прошли,
и дорог,
по которым пройти предстоит.

Там горы высокие.
Там степи бескрайние.
Там ветры летят,
по проселкам пыля.
Мы — дети Галактики,
но самое главное —
мы дети твои,
дорогая Земля!

Притяженье Земли,
притяженье садов,
и закатов,
и сосен в пушистом снегу,
небольших деревень,
и больших городов,
и ночного костра
на пустом берегу.

Не изменится
этот порядок вещей,
и настигнет меня,
и припомнится мне

притяженье Земли,
притяженье друзей,
притяженье любимой
в далеком окне.

Там горы высокие.
Там степи бескрайние.
Там ветры летят,
по проселкам пыля.
Мы — дети Галактики,
но самое главное —
мы дети твои,
дорогая Земля!

ПРОСЬБА

Раненая птица
в руки не давалась,
раненая птица
птицей оставалась.
Этот сон давнишний
до сих пор мне снится:
на траве кровавой
вздрагивает птица.

Птицы, рыбы и звери
в души людям смотрят.
Вы их жалейте, люди,
не убивайте зря!
Ведь небо без птиц —
не небо!
А море без рыб —
не море!
И земля без зверей —
не земля!

Люди-исполины,
люди-великаны,
есть у вас винтовки,
сети и капканы,
есть у вас бесстрашье,
сила есть навечно,
и должно быть сердце,
сердце человечье.

Люди-человеки,
страны и народы,
мы теперь навечно
должники природы.
Надо с этим долгом
как-то расплатиться,
пусть расправит крылья
раненая птица!

Птицы, рыбы и звери
в души людям смотрят.
Вы их жалейте, люди,
не убивайте зря!
Ведь небо без птиц —
не небо!
А море без рыб —
не море!
И земля без зверей —
не земля!

ЖЕЛАЮ ВАМ

Дождинка малая
на землю капнула,
А мы не встретимся.
Что было — кануло.
Что было — не было.
Что было — сгинуло.
Прошу за все простить меня.

Как тихо в комнате,
как пусто в комнате...
И вы лицо мое
не сразу вспомните.
Потом — забудете.
Совсем забудете.
Прошу за все простить меня.

Желаю вам
всегдашней радости в судьбе,
желаю вам
всего того, что вы желаете себе.
Желаю вам
одних счастливых дней в году.
Прошу меня не узнавать,
когда во сне я к вам приду.

Над зоревой землей
дожди проносятся.
На зоревой земле
тропинок множество.

И мы не встретимся.
А если встретимся,
прошу за все простить меня.

Дождинка малая
на землю капнула.
А мы не встретимся.
Что было — кануло.
Что было — не было.
Что было — сгинуло.
Прошу за все простить меня.

Желаю вам
всегдашней радости в судьбе,
желаю вам
всего того, что вы желаете себе.
Желаю вам
одних счастливых дней в году.
Прошу меня не узнавать,
когда во сне я к вам приду.

ПОКА Я ПОМНЮ

Луна над городом взошла опять.
Уже троллейбусы уходят спать.
И, словно ветры счастья,
в окно мое стучатся
лишь воспоминания.
Воспоминания о давнем дне,
когда однажды ты пришла ко мне,
в дожде таком веселом,
цветном и невесомом
ты пришла ко мне.

Плывут в дома воспоминания,
слова любви,
слова признания.
Живут во мне воспоминания,
живут во сне и наяву.
Они — тепло мое весеннее,
моя мечта,
мое везение,
моя надежда и спасение.
Пока я помню,—
я живу!

Воспоминания глядят в глаза.
Воспоминаний обмануть нельзя.
Они, по самой сути,—
мои друзья и судьи
и мои наставники.
Давно расстались мы с тобой, и все ж
в воспоминаньях ты моих живешь,

в дожде таком веселом,
цветном и невесомом
вновь идешь ко мне.

Плывут в дома воспоминания,
слова любви,
слова признания.
Живут во мне воспоминания,
живут во сне и наяву.
Они — тепло мое весеннее,
моя мечта,
мое везение,
моя надежда и спасение.
Пока я помню,—
я живу!

ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!

Здравствуй, мама!
Опять мне снится
песня твоя.
Здравствуй, мама!
Светла, как память,
нежность твоя.
Этот мир не от солнца такой золотой,—
он заполнен до края
твоей добротой.

Ты слабеешь —
в меня уходят
силы твои.
Ты стареешь —
в меня уходят
годы твои.
Все равно, несмотря на любые года,
будешь ты для меня
молодой навсегда.

Натрудились
на десять жизней
руки твои.
Народились
под этим небом
внуки твои.

Ты опять колыбельную песню поешь,
и во внучке своей
вдруг себя узнаешь.

На земле
хороших людей немало,
сердечных людей немало.
И все-таки лучше всех на земле —
мама.
Моя мама.

СТАРЫЕ СЛОВА

Три слова, будто три огня,
придут к тебе средь бела дня.
Придут к тебе порой ночной,
огромные, как шар земной.
Как будто парус кораблю —
три слова:
«Я тебя люблю».
Какие старые слова!
А как кружится голова,
а как кружится голова!

Три слова, вечных, как весна.
Такая сила им дана!
Три слова — и одна судьба,
одна мечта, одна тропа.
И вот однажды, все стерпя,
ты скажешь:
«Я люблю тебя».
Какие старые слова!
А как кружится голова,
а как кружится голова!

Три слова, будто три зари.
Ты их погромче повтори.
Они тебе не зря сейчас
понятны стали в первый раз.
Они летят издалека,
сердца пронзая
и века.
Какие старые слова!
А как кружится голова,
а как кружится голова!

ПРИДЕТ И К ВАМ ЛЮБОВЬ

Придет и к вам любовь.
Зимою иль весной
вы встретите ее
случайно.
И сразу же быстрей
закружит шар земной.
И жизнь начнется вдруг
сначала.

Придет и к вам любовь.
Придет она всерьез,
напишется сама,
как повесть.
Желаю жарких слов,
желаю светлых слез,—
не бойтесь этих слез,
не бойтесь.

Придет и к вам любовь.
Высóко-высокó.
И молнии сверкнут
над вами.
Как будет трудно вам,
как будет вам легко,
нельзя и рассказать
словами.

Придет и к вам любовь.
Но если свысока
привыкли вы шутить
над нею,

то, значит, на земле
не жили вы пока.
И я вас от души
жалею.

Придет и к вам
любовь...

ПЕСНЯ О ПОЛЫНИ

Зачем на склоне дня
холодный дождь полил?
Ты целовал меня,
а на губах — полынь.

Опять приходишь ты,
но сердце зря стучит:
завяли все цветы,
и лишь полынь горчит.

Горчит полынь-трава.
Теперь-то знаю я:
полынь — твои слова!
Полынь — любовь твоя!

Полынь стеной растет.
Стоит в полях теплынь.
Твой голос — будто мед,
а все равно — полынь.

Полыни я нарву,
себе гнездо совью.
И на полынь-траву
полынь-слезу пролью.

А ТЫ ПОЛЮБИШЬ

А ты полюбишь,
ты полюбишь.
А ты прольешься,
как заря.
И сердце — надвое — разрубишь...
А он тебе не скажет:
зря!..

А ты поверишь,
ты поверишь.
Начнешь
выклянчивать слова.
Ты никогда не овдовеешь...
И все же будешь —
как вдова.

А ты устанешь,
ты устанешь
смотреть
в густеющую тьму.
В квартире мебель переставишь...
А он не спросит:
почему?..

А ты привыкнешь,
ты привыкнешь.
И будет ночь
белым-бела.
И ты одна из дома выйдешь...

А он не спросит:
где была?..

А ты обманешь,
ты обманешь.
На пальце
перстень заблестит.
Глаза обманом затуманишь...
А он в глаза
не поглядит.

А ты заплачешь,
ты заплачешь.
В окне застынешь,
как во льду.
А ты беду свою запрячешь.
Свою беду.
Его беду.

ТВОЯ СВАДЬБА

А свадьба твоя продолжается.
И ты не волнуйся, пожалуйста.
Смотри, с женихом я беседую,
танцую с твоею соседкою,
тебя поздравляю я вежливо,
мне весело!
Ах, как мне весело!..
А в общем, спасибо, что вспомнила
в такой серьезный день.

А помнишь, как зябкою полночью
снежинки кружились беспомощно.
Мы шли по огромному городу.
А помнишь пустынную комнату.
И крик твой, похожий на таинство:
«С тобою мы не расстанемся!..»
Во мне,
будто вечная музыка,
твои слова звучат.

А свадьба твоя продолжается.
И ты не волнуйся, пожалуйста.
Смотри, с женихом я беседую,
танцую с твоею соседкою,
тебя поздравляю я вежливо,
мне весело!
Ах, как мне весело!..
Наверное, только поэтому
горчит мое вино.

ПЕСНЯ О ДРУГЕ

Без напыщенных фраз и братаний навеки,
без объятий и шума вокруг,
но один человек
о другом человеке
неспроста говорит:
«Он — друг...»
Да,— говорит,—
есть,— говорит,—
друг,— говорит,—
друг.

И когда ты в беде, как в сраженье неравном,
так, что вроде бы рушится жизнь,
он приходит — твой друг —
и становится рядом.
И тебе говорит:
«Держись!..»
Верь,— говорит,—
я,— говорит,—
здесь,— говорит,—
здесь.

Прямо в сердце врывается ветер упругий,
налетел, просвистел, зазнобил.
Только самое страшное,
если о друге —
о живом — говорят:
«Он был...»
Вот,— говорят,—
друг,— говорят,—
был,— говорят,
был.

ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ

В небе колышется дождь молодой,
Ветры летят по равнинам бессонным.
Знать бы, что меня ждет
за далекой чертой,
там,
за горизонтом.

Шел я к высокому небу не зря.
Спал, укрываясь большими снегами.
Но зато я узнал,
что такое заря
там,
за облаками.

Верю, что, все неудачи стерпя,
жизнь отдавая друзьям и дорогам,
я узнаю любовь,
повстречаю тебя
там,
за поворотом.

Если со мною случится беда,
грустную землю не меряй шагами.
Знай, что сердце мое
ты отыщешь всегда
там,
за облаками.

ЭХО ЛЮБВИ

Покроется небо
пылинками звезд,
и выгнутся ветки упруго.
Тебя я услышу за тысячу верст.
Мы — эхо,
мы — эхо.
Мы —
долгое эхо друг друга.

И мне до тебя,
где бы ты ни была,
дотронуться сердцем нетрудно.
Опять нас любовь за собой позвала.
Мы — нежность,
мы — нежность.
Мы —
вечная нежность друг друга.

И даже в краю
наползающей тьмы,
за гранью смертельного круга,
я знаю, с тобой не расстанемся мы.
Мы — память,
мы — память.
Мы —
звездная память друг друга.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ. ПЕСНИ

ИЗ СБОРНИКА «РАДИУС ДЕЙСТВИЯ» 1964—1965

Третье Музыкальное 7
Дом 10
Прорубают Арбат 12
Ремонт часов 15
История 17
«Вслушайтесь! Вглядитесь!..» 20
Винтики 22
«У планеты сон не слишком глубокий...» 25
«Интересуешься искусством?..» 27
Человек 29
Мы — политики 30
Памятник солдату Алеше в Пловдиве 33
Базар того года 36
Зал ожидания 39
Планета друзей 41
Назым 43
Али Бала 46
Сауна 48
Радиус действия 50
«За тобой через года...» 52
Стихи о биотоках 54
Вольф Мессинг 57
«Не ночь, а просто...» 60
Дочке 62
Письмо про дождь 65

Письмо про снег 67
Дипломатам нашим 69
Парни с поднятыми воротниками 72
«Кем они были в жизни — величественные Венеры?..» 75
Кочевники 78
В буддийском монастыре 80
Кино в Улан-Баторе 82
Переезжает роща 84
Разговор с горой Карадаг 86
Ночью 89
Мечта 91
Ответ на записку из зала 93
Письмо в тридцатый век (Поэма) 96

ИЗ СБОРНИКА
«СЫН ВЕРЫ»
1964—1966

Весенний монолог 124
Стихи о хане Батые 126
«У киоска поет Отелло...» 128
Перед праздником 130
Другу, которому я не успел написать стихов . . . 132
Играют гаммы 134
«Мне уже в который раз...» 136
«Приходит врач, на воробья похожий...» 138
Жены космонавтов 141
Матрешка 143
Сын Веры 146
«Говорила мама: «Сынок, уймись!..» 148
Зорге 150
«Мне такою нравится земля...» 151
Деревья 153
Белый танец 155
Я и мы 157
«Взял билет до станции Первая любовь...» . . . 160
«А я все тебе не пишу, не пишу...» 162
«Все в этой осени повторимо...» 164
Ссора 166
«Хочешь — милуй, хочешь — казни...» 168
Нервы 170
Венеция 172
В Риме 174
На аэродроме Орли 176

Рулетка 178
Воюют надписи 181
«Где-то оторопь зноя с ног человека валит...» . . 182
«Сейчас весна в походе...» 183
Ветер на юге 186
Королева пляжа 188
Жара 190
Памяти Михаила Светлова 192
«Не верю в принцесс на горошинах...» 194
«Гитара ахала, подрагивала, тенькала...» 196
Паланга 198
Вверх — вниз... 200
Хаши 202
Письмо из бухты Н. 204
Живем на «товсь!» 207
Стихи о сложности 209
«Жалею, жалею девочек...» 211
«Ты мне сказала: «Ночью...» 214

ИЗ СБОРНИКА «ВСЕРЬЕЗ» 1965—1968

Дни рождений 216
Утренние стихи 219
«Вот звезды падают...» 221
«Может быть, порыв — банальный...» 223
Просьба 225
«Встанет море, звеня...» 227
Голод 228
«Говорите по-советски...» 230
Несовместимость 232
Патруль 234
У букиниста 235
«Над камином стучат ходики...» 236
Упражнение по фонетике 238
Давнее 243
«Зря браслетами не бряцай...» 244
Родился человек 246
Разница во времени 248
Выставка детских рисунков 250
Неореализм 251
«О, поэтические дела!..» 253

Трын-трава 255
«Ромашки глядят напыщенно...» 257
Мелочь 259
Дон-Кихот 260
Поэты 262
Цирк 264
«Чего бы это значило?..» 267
«Плюньте на изящный ореол...» 269
В День поэзии 270
Городок 272
«По предсказанью радио...» 274
В тире 276
Именины 278
На родине Маяковского 280
Убили парня 282
«Притворись большим и щедрым...» 284
Поезд 285
«В дорогу хочет бабушка...» 287
Подарок 288
Письмо московскому снегу 290
Коррида в Лиме 292
«Да осенит вас Южный Крест...» 294
Письмо из южного полушария 296
Баллада о том, как инки начали поклоняться солнцу 298
Молитвы инка 303
Сувениры 307
«Нам сказали: «Зря чураетесь...» 309
«Мир, состоящий из зла и счастья...» 311
Вещи 313
«Зловещи и просты...» 315
Поэма о разных точках зрения 316
До твоего прихода (Поэма) 342

ИЗ СБОРНИКА «ПОСВЯЩЕНИЕ» 1967—1970

«На Земле безжалостно маленькой...» 355
Сердце 357
Частушка 359
Сарьян 361
«Ежедневное чудо — не чудо...» 363
Речка 365

«И ночь холодна. И день голубой...» 366
«Мы в ревущих колоннах...» 367
Баллада о спасенном знамени 369
Стихи о последних метрах 372
Признание кинодублера 374
Полночь 377
«Отдать тебе любовь?..» 378
«Кому принадлежу?..» 380
«Мы живем в предвоенное время...» 382
Старьевщик 384
Никто никому не грубит 387
«Не стоит от себя бежать...» 389
«Родных разыскиваю, родных...» 391
«Снег шел, как больной...» 393
«Над головой созвездия мигают...» 394
Баллада о бессмертии 395
Подкупленный 398
«Если разозлишься на меня...» 401
«Ожидаю ночи, как расстрела...» 403
«Я богат...» 405
Первые 407
«Есть царственность спесивая...» 409
Музыка 410
Осенью 412
Барабан 414
Пегас 416
«Написал: «Живу себе...» 418
Минута молчанья 419
«Не убий!..» 421
Колыбельная 423
«А было так, что мы...» 426
Че 428
«Жители пустых квартир...» 431
Хиппи 433
Мачу-Пикчу 435
Старый индус 438
Размышление слона, катающего туристов... . . . 439
Тадж-Махал 441
Кое-что о всеобщей забастовке 443
Ностальгия 445
Джоконда 447
Швейцарские коровы 449
Слушая радио 451
Посвящение (Поэма) 452

ПЕСНИ
1964—1970

Даль великая 480
Как рождаются звезды 482
Если б камни могли говорить 484
Товарищ песня 486
Воспоминание о полковом оркестре 487
Мгновения 488
Песня о далекой Родине 490
Песни из спектакля «Молодая гвардия»
Птица 492
Вера в людей 492
Завтра 493
Двое 494
Мы уходим 495
Песня павших в бою 496
За того парня 497
Этот большой мир 499
Притяженье Земли 501
Просьба 503
Желаю вам 505
Пока я помню 507
Здравствуй, мама! 509
Старые слова 511
Придет и к вам любовь 512
Песня о полыни 514
А ты полюбишь 515
Твоя свадьба 517
Песня о друге 518
Там, за облаками 519
Эхо любви 520

Рождественский Р. И.

Р 62 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 2. Стихотворения; Поэмы; Песни; 1964—1970.— М.: Худож. лит., 1985.—526с.

Во второй том Собрания сочинений вошли стихотворения, поэмы, песни 1964—1970 годов из сборников «Радиус действия», «Сын Веры», «Всерьез», «Посвящение».

Р $\frac{4702010200\text{-}338}{028\,(01)\text{-}85}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

Роберт Иванович
Рождественский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 2

Редактор
Н. КРЮКОВ

Художественный редактор
Е. ЕНЕНКО

Технический редактор
В. НЕФЕДОВА

Корректоры
Н. УСОЛЬЦЕВА
С. КОЛГАНОВА

ИБ № 4015

Сдано в набор 01.03.85. Подписано в печать А14113 от 03.08.85. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Журнально-рубленая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,72. Уч.-изд. л. 22,18. Тираж 75 000 экз. Изд. № III-1821. Заказ № 906. Цена 2р. 70к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Новобасманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28